

Супервольф

Автор:

Михаил Ишков

Супервольф

Михаил Никитович Ишков

Секретный фарватер (Вече)

Фокусник и гипнотизер, ясновидящий и прорицатель, Вольф Мессинг остался в истории XX века одним из самых загадочных людей. Он предсказал находящемуся в зените славы Третьему рейху неизбежный крах в случае похода на Восток. В середине 1943 года с точностью до дня Мессинг назвал дату победного окончания Великой Отечественной войны. Задолго до смерти Сталина он угадал месяц и год его кончины. Наконец он мог не только ВИДЕТЬ с закрытыми глазами, но и ЧИТАТЬ чужие мысли. Вольфу Мессингу были открыты многие тайны ушедшего века, они умерли вместе с ним. Но самой великой тайной был он сам, выходец из бедной еврейской семьи, медиум и артист, гений и волшебник...

Михаил Ишков

Супервольф

© Ишков М. Н., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

Вступление

Сначала поставили таз. Я встал мимо таза. На следующую ночь налили корыто – в эту ловушку я и попался. Угодив однажды в ледяную воду, уже не бродил по дому, не влезал на крышу, чтобы быть поближе к луне.

Луна, громадная, таинственная, светила сквозь ветви сада, который отец арендовал у местного цадика и где всем нам – мне и трем братьям – пришлось немало потрудиться. Там же, в саду, отец отвешивал детишкам тумачи, если вдруг заставлял кого-нибудь отлынивающим от работы. Но самым непростительным проступком считалось хныканье, жалобы, выказывание обиды, одним словом, проявление малодушия. Все остальные пороки тянулись за отсутствием стойкости как хвост за собакой. Еврейский мальчик не имел права на слабость. Насколько мне помнится, отец испытывал какую-то сладострастную ненависть ко всякому, кто считал себя обиженным. В этом случае, кроме тумачков, провинившегося с ног до головы обливали презрением, сопровождавшимся немудреными нравоучениями от Гершки Босого, моего отца. Я запомнил их на всю жизнь – «сам виноват», «никаких слез», «на тру?сах воду возят», «промахнулся, себя вини», «ты еще оправдываться вздумал?!». Квинтэссенцией подобного воспитательного метода являлась немудреная житейская мудрость – «два раза в одну лужу не наступай».

Особенно убедительными эти заповеди становились, когда их осеняли именем Божьим. Лет до восьми я не испытывал сомнений, что именно Создатель, вселяясь в отцовскую руку, безжалостно терзает меня. Так, по крайней мере, утверждал Гершка Босой.

О чем это я? Ах, о луне, о корыте с холодной, до ожога, водой, с помощью которой родители пытались излечить меня от дурной напасти, высокопарно и научно называемой – лунатизм!

Остру внимание читателя на том, что на этих страницах нет и не может быть даже намек на попытку свести счеты с прошлым. Я любил отца, пусть даже и побаивался его, обожал мать, был ласков с братьями, и это не ради красного словца.

Детство мое прошло в небольшом местечке Гура Кальвария, расположенном неподалеку от Варшавы. Название переводится как Голгофа, но мне моя Гура запомнилось садами, в которых до войны вызревали во-от такие яблоки! Зимой

отец и все соседи трудились на фабрике, принадлежащей цадику, где выделяли вкуснейший в мире мармелад. После войны никого не осталось – из Кальварии их всех прямиком отправили кого в Майданек, кого в Варшавское гетто. Там всем им, и старым и малым, показали подлинную Голгофу.

Мне, единственному выжившему, повезло найти приют в России. Здесь я встретил друзей, товарищей и многих других, кто, невзирая на опасности, помог мне выжить. Здесь в лице Аиды Михайловны нашел свое счастье! Да, здесь меня держали на привязи, но время от времени поводок отпускали. Я не держу зла на собаководов, как и на тех злопамятных завистников, кто был не прочь обидеть Мессинга (их на меня одного было более чем достаточно), ведь я не вправе перебрасывать на чужие плечи свои недоработки и промахи.

Надвигается вечер. Я вижу себя отдыхающим на балконе. Наговорившись с прикрепленным ко мне журналистом, сочиняющим мой «жизненный путь»; объяснив ему, что чудес не бывает, что все дело в психомоторных реакциях, в исключительной памяти и привитой с рождения пронырливости, – прикидываю точку, в которой солнце коснется горизонта. С высоты четырнадцатого этажа это сделать нетрудно. Провожу воображаемую кривую и убеждаюсь, что это место скрыто за многоэтажными громадинами. Место не совсем подходящее, лишаящее меня возможности лицезреть погружение солнечного диска в земную твердь. При желании я мог бы вернуть солнце в зенит и направить его по другой траектории, однако предаюсь размышлениям о том, что жить мне остался год, четыре месяца и шесть дней.

Эта точность неувидительна. Как-то, заглянув в будущее, я проявил слабость – не удержался и бросил взгляд на листок календаря, некстати попавшийся мне на глаза. Так поступать с будущим нельзя – это я говорю ответственно, как человек, не раз побывавший там. Оказавшись по необходимости в толпившихся впереди днях, ни в коем случае нельзя интересоваться календарем! Но что сделано, сделано. 2 ноября 1974 года меня вынесут из квартиры на улице Герцена и доставят в госпиталь Бурденко, чтобы сделать операцию на сосудах.

Восьмого сдохну!

Как ни смешно за полтора года до смерти вспоминать о детском лунатизме, я утверждаю, что вовсе не корыто с ледяной водой, а собственные усилия излечили меня от ночных сумасбродств. Перед глазами до сих пор стоит крохотная комнатка, тьма, распахнутое окно и я на лежанке у окна. Я сплю, меня

будит луна. Она зовет, ее зов неодолимо-сладостен. Не буду утверждать, что я наблюдал за собой со стороны, просто в душе жило ощущение, что я – это я, а он (то есть тоже я, только спящий) – это он. Этот «он» собирается встать, выйти из дома, влезть на крышу, чтобы побеседовать с луной, но я предупреждаю – этого делать нельзя. Поговори из кровати, ведь луна видна и отсюда. Мне мешает стена, жалуется «он». Стена не помеха, отвечаю я, ты попробуй.

«Он» глянул, и увидел ее всю, громадную, сияющую золотом. Увидел тени, темные разводы, неровные края заваливающегося назад диска. Приглядевшись, мы различили абрисы кольцевых гор и обширные каменистые пространства, называемые морями.

Это потом я узнал, что это моря. Систематического образования, кроме познаний в Талмуде, мне получить не удалось. Его страницы мы наизусть заучивали в хедере. Общедоступные сведения, например, тайну таблицы умножения и местоположения Австралии, мне пришлось добывать в зрелом возрасте, собственными руками и по крупицам. Благо, учителя мне достались на редкость знающие – Ханна Шуббель, Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор, Иосиф Виссарионович, старший оперуполномоченный лейтенант Гнилощук, а также следователь Главного управления госбезопасности Трущёв Николай Михайлович. Поспособствовали моему развитию Марлен Дитрих, князь Чарторыйский и Йозеф Пилсудский. Немало я узнал и от моего дружка по Берлинскому паноптикуму Вилли Вайскруфта, особенно по части химер и предрассудков, которыми люди с таким увлечением обставляют ясные и простые истины. Мне пришлось немало натерпеться от небезызвестного Шикльгрубера, сумевшего натравить таких парней, как Вилли, на таких парней, как Вольф. Радует, что будущее Адольфа в точном соответствии с моим предсказанием стало могилой.

Мне доводилось встречаться с Гитлером. Эти встречи нигде не зафиксированы и никогда не афишировались. Мы не договорились. Предназначенное мне место занял известный «берлинский маг и прорицатель» Эрик-Ян Ганусен. Он называл себя датским дворянином, хотя имя и фамилию этот «датчанин» имел самые простецкие – Гершель Штейншайдер. Дед его был старостой синагоги.

Вы не поверите, но я вынужден выразить благодарность фюреру за то, что он разбудил во мне голос крови. Гитлер так страстно вопил о «вине евреев», что в 1939 году, после падения Варшавы, мне сразу стало ясно – пора уносить ноги.

Со своей стороны, Лаврентий Павлович тоже помог мне в совершенстве отточить присущее евреям чувство опасности, хотя я вовсе не считаю себя евреем. Был в моей жизни момент, когда я окончательно разуверился в своем земном происхождении. Если кому-то это признание покажется по меньшей мере гнусным, пусть мне простят эту блажь. У меня имеются особые причины на такое хулиганство: ведь если бы я верил всему, что рождается в моей голове, я бы утверждал, что рожден на небе.

Со своим народом я порвал, когда разуверился в Боге. Я обрезал свое сердце, и с тех пор иная жизнь, в которой взаправду «нет различия между иудеем, эллином или скифом», потому что одно будущее у всех, – объемлет меня. Душой я не отрекаюсь от Израиля, всякий намек на презрение ко мне как «жиду» глубоко ранит меня, и я стараюсь дать сдачи. Слезы вызывают и воспоминания о родных – о матери и отце, о братьях и двух тетках, сгинувших в гетто. Мне дорога эта принадлежность, но мой Иерусалим далеко, подальше, чем Палестина, и с этим фактом, нравится он мне или нет, я был вынужден мириться всю жизнь.

Немало знаний я набрался и в России, особенно по части умения выжить, надеяться на лучшее и ценить мгновения. В этом мне помогли мои друзья, среди которых попадались академики медицины, а также профессора физики. Правда, им я был интересен исключительно как добрый малый, но никак не загадка, некий фокус в штанах. В этом смысле, как выразился один из моих знакомых остроумцев, лунные моря чем-то очень похожи на меня – название есть, а воды нет.

Перед началом выступления я имею привычку прислушиваться к публике. Помню, как некая дама убеждала подругу:

– Милочка, это настоящий волшебник! Сущий граф Калиостро! Ах, ты не веришь? Конечно, в наш материалистический век вера в настоящее волшебство угасла! Ничего, сейчас сама увидишь! То, что он показывает, – это сотая доля того, что он может. Он, например, может принимать облик любого животного, превращаться в тигра или собаку...

– Почему же он не превращается?

– Ему запретили это делать. Он подписку дал...

Если вспомнить, сколько требований «бороться с религиозным мракобесием», «разоблачать антинаучные предрассудки», «непременно давать соответствующие разъяснения», сколько обязательств «не разглашать», «не использовать» я подписал, с ума сойти можно. Не понимаю, как рука не отвалилась и почему я жив.

Но, главное, зачем?

Вернувшись в комнату, по наитию, сумбуристо пишу эти строки. Предоставив солнцу возможность следовать собственным путем, я волен с необыкновенной легкостью перескакивать с предмета на предмет.

Обычно я сочиняю до полуночи, потом рву написанное и спускаю в унитаз.

Из принципа! Чтобы журналисту не досталось. Знаете, ко мне ходит журналист! То ли по собственной инициативе, а может, его приставили ко мне? Правда, у меня уже есть один смотрящий от органов. Стоит ли безобидный, чудаковатый Вольф двух оперативных работников?

Журналист – добрый малый, но вот что изумляет – страницы, которые он приносит для визирования, мало соотносятся с биографией Вольфа Мессинга. Все в них вроде бы точно, все по фактам, но это не обо мне. Он ухватывает только то, что «проходимо», что поможет советскому читателю глубже вникнуть в «тайны непознанного». Что поможет ему ощутить всемогущество и мощь современной науки (всеми силами избегающей меня), вдохновить на дерзание в области научного творчества (защитить кандидатскую, а затем и докторскую), объяснить, что в мире не существует и не может существовать ничего сверхъестественного (он утверждает это, работая со мной, с самым сверхъестественным существом на свете). Заодно он не стесняется дописывать то, что «необходимо».

Об этом будет особый разговор.

Такая методика обращения с материалом пробуждает у меня волчий аппетит к Вольфу Мессингу. Появляется желание рассказать о себе, родном; о том, чем может грозить умение предсказывать сильным мира сего их судьбу, что значит терять любимых и жить, зная день своей смерти.

Я уверен, уничтоженные мною записки не растворятся в «пространстве» и «времени», ведь известно, что рукописи не горят. И не тонут! Даже в унитазе. Они обязательно возродятся с помощью чьих-то чужих неуклюжих мыслей, в голове какого-нибудь свихнувшегося писаки. Пусть оживут на экране маленького, на удивление плоского телевизора, на котором высвечивается текст, набранный с помощью странной пишущей машинки, от которой осталась только клавиатура. Я – в экстазе, я наблюдаю за наборщиком, за невиданной в мое время аппаратурой со стороны, «из верхних слоев атмосферы», а может, из потусторонней дали, куда уходят все, кто явился с небес. Мне прекрасно виден мой бывший балкон в доме на Большой Никитской, а также много других домов, служивших пристанищем Мессингу. Различим и человек, взявшийся за неблагодарный труд осмысления моей жизни. Он непомерно высок, самонадеян и полагает, что сумел проникнуть в мою ауру, «незримо витающую в эфире». Его уверенность выдает в нем натуру наивную и недалекую.

Я не стану лишать его уверенности. Пусть трудится. Я вмешаюсь, когда появится необходимость. Я сотру все, что окажется ложью, нелепицей, что заденет кого-нибудь из близких мне людей. Если я сочту эти страницы оскорблением, неумеренным перехлестом или, что еще хуже, сопливым восхвалением моих «сверхъестественных способностей», я заткну ему рот ментальным кляпом, так что положитесь на меня.

Будьте уверены!

Пока изложенное меня устраивает – ведь от случайно навязанного мне судьбой автора не требуется ни фактологической точности, ни пафоса, ни попыток восславить бред или унижить евреев. Мне хотелось – я настаиваю! – чтобы Вольф это был Вольф, и никто другой.

Вольф по прозвищу Мессинг всего лишь необыкновенный человек, вундерман, неявный гость из будущего, не чуждый желания выжить, любить и быть любимым, всеми силами пытавшийся проникнуть в тайну собственного «я», умеющий лукавить, изображать из себя горемыку, проявлять слабость, держать язык за зубами, не допускать промахов, а если уж не повезет, достойно исправлять их. В этом мало величия, но много печали и каждодневного труда, но кто сказал, что будущее приходит в мир, чтобы веселить и радовать.

Далее я не буду оговаривать свое присутствие в романе. Оставим версию на совести автора, тем более каждому, кому дорог мир во всем мире, сразу станет

ясно, где текст правит моя рука, а где автором руководит безумие.

Вольф Мессинг

Часть I. Голос зовущего

Еще не разгадано до конца, что происходит внутри тени.

Эдгар Аллан По

Глава 1

Из дома я сбежал в одиннадцать лет. Точнее, сбежал из иешивы, еврейской семинарии, куда меня отправили после окончания начальной школы. На этом настоял местный раввин, чем очень порадовал отца, уверовавшего, что мне, возможно, повезет и я сумею выкарабкаться из нищеты. То же напороочил и любимый мною Шолом-Алейхем, в начале века посетивший наше местечко-штетеле. Меня представили ему как самого способного ученика в хедере. Он потрепал меня по щеке и пообещал великое будущее.

Шолом-Алейхем был добрый человек, он обещал счастливое будущее всем еврейским детям, в надежде, что кому-нибудь, возможно, и повезет. С высоты четырнадцатого этажа я утверждаю – великий писатель был прав. Лучше пообещать несчастному ребенку великое будущее, чем, ссылаясь на грубость жизни, убеждать его стать зверенышем.

Я, со своей стороны, наотрез отказался поступать в иешиву. С меня хватило и хедера. Сначала отец пытался убедить меня, потом мать, но я стоял на своем, и от меня отступились. Как оказалось, ненадолго. Мне в ту пору было девять лет, мама вздохнула: повзрослеет – поумнеет, однако отец рассудил иначе.

Помню, это было поздней осенью, ближе к вечеру, в сумерках. Отец послал меня в лавку за папиросами, и возвращался я уже в полной темноте.

Подхожу к дому, только ступил на первую ступеньку, как что-то огромное, светлое заполнило крыльцо. Я замер от ужаса, и только спустя несколько мгновений различил, что крыльцо заполнила громадная, напоминающая человека фигура в белом одеянии.

Фигура торжественно вскинула руки к небу, и я услышал волнующий, низкий голос, укоривший меня за пренебрежение волей Создателя.

– Сын мой! Свыше я послан... предречь будущее твое во служение Богу. Не пренебрегай волей Господа, ступай в иешиву! Будет угодна Богу твоя молитва...

Я онемел. Мальчишка я был нервный, мечтательный, что называется, себе на уме, и тут вдруг такое чудо.

Я потерял сознание.

Пришел в себя уже в комнате, надо мной склонились отец и мать. Оба нараспев, громко читали молитву. Помню их встревоженные лица. Как только я очнулся, родители успокоились. Мать отошла в сторону, там села на табуретку, сложила руки на коленях. Я рассказал, что только что на нашем крыльце повстречал ангела.

Отец спросил.

– Что же он тебе посоветовал?

– Он потребовал, чтобы я не пренебрегал волей Создателя.

Отец, внушительно кашлянув, произнес:

– Так хочет Бог... Ну, пойдешь в иешиву?

Мать промолчала.

Потрясенный происшедшим, я не имел сил сопротивляться и вынужден был сдаться.

Иешива находилась в маленьком провинциальном городке, отличавшемся вылизанной чистотой и непререкаемой размеренностью жизни. Помню мощные улочки, редких прохожих, не обращающих внимания на хилого мальчишку в длиннополом одеянии с экзотической шапочкой на голове.

Распорядок дня в иешиве был вполне тюремный. Нам запрещалось смеяться, громко разговаривать, драться с местными мальчишками, показывать язык девочкам, презрительно фыркавшим при виде похожих на чучело учеников иешивы. Это случалось в редкие минуты свободы, когда каждый из семинаристов в перерыве между занятиями отправлялся на обед в тот дом, который был назначен на сегодня. Мы по очереди обходили дома местных евреев. Этих глотков свободы было так мало, а увидеть хотелось так много – например, реку и дирижабль, однажды приземлившийся за рекой. Городские мальчишки гурьбой бросились туда, а мне только в прогале улочки посчастливилось увидеть поблескивающий бок летательного аппарата.

По ночам я горько плакал, а утром, умывшись ледяной водой, опять начинал заучивать наизусть страницы Талмуда.

Однажды в молитвенном доме я встретил странника, чья фигура показалась мне знакомой. Это был верзила, отличавшийся огромным ростом и атлетическим телосложением. Широкое лицо, окладистая белая борода... Я не мог отделаться от мысли, что где-то уже видел его. Вразумил меня голос бродяги – это был голос ангела, объявившего мне волю Бога. Этот гроыхающий басок, потребовавший от меня отправиться в иешиву, ни с чем не спутаешь. Потрясения хватило на всю ночь и еще на несколько дней – неужели отец просто-напросто сговорился с этим проходимцем?

Бродяга превосходно сыграл свою роль, только финал ему не удался. Приметив, что я не свожу с него глаз, перед уходом он погладил меня по голове и признался, что отец подрядил его за несколько грошей указать мне верный путь в жизни. Это признание не стало для меня новостью, я только поинтересовался – как же Божий суд? Незнакомец махнул рукой и неожиданно хитровато подмигнул – жить-то надо! Эту плутоватую гримасу я запомнил на всю жизнь, она все решила. Мне не было дела до этого проходимца. Я не мог взять в толк – как мой всегда справедливый отец пошел на обман? Кому же верить?! Тогда

ложь все, что я знаю, чему меня учат? Может быть, Бог тоже лжет?! Может быть, его и вовсе нет?

Нет Бога?

Нет Бога!

...Мне нечего было делать в иешиве. Той же ночью я обрезал ножницами длинные полы своей одежды и, повторяя про себя молитву всех обманутых и оскорбленных: «Вот вам за это!» – сломал кружку, в которую верующие опускали свои трудовые пфенниги «на Палестину». Содержимое – восемнадцать грошей – я пересыпал в карман и помчался на ближайшую железнодорожную станцию. С этим «капиталом», опустошенной душой и негодующим сердцем я отправился на встречу с неизвестностью.

Нестерпимо хотелось есть, и по пути я добавил грехов – накопал на чужом поле картошку, испек ее в золе, слопал всю и, повеселев, двинулся дальше, на зов паровозного гудка. С тех пор лучшей музыкой для меня является паровозный гудок, а лучшим блюдом – пахнущий дымом печеный картофель с привкусом солоноватой золы.

Маршрут мне указала судьба. Вагон, в котором я спрятался на станции, отправлялся в Берлин, но об этом я узнал уже по прибытии, схваченный на берлинском вокзале моим попутчиком, назвавшимся Вилли. Было ему в ту пору лет тринадцать. Он был постарше меня и крупнее. Может, поэтому понадеялся на силу. Зажав меня в укромном уголке, он потребовал признаться, каким образом я устроил этот фокус с билетом и зачем явился в Берлин.

Помнится, я лепетал что-то насчет испуга.

Действительно, когда в вагон зашел контролер, я, безбилетник, до смерти перепугался и спрятался под лавку. Сидевший поодаль и до той поры надменно поглядывавший на меня мальчишка с интересом следил, чем окончится мое противостояние с законом.

Когда контролер, согнувшись, предложил предъявить мне проездной документ, я, оказавшись в состоянии, близком к обмороку, сунул ему подобранный с пола обрывок газеты. Обрывок был немалого размера – это последнее, что я успел

отметить до того, как обмер от страха. Затем, вероятно, со страху провалился в нечто, напоминающее сон. Другими словами, я увидел себя в некой иной перспективе – будто я показываю язык надменному соседу и небрежно протягиваю контролеру железнодорожный билет. У меня не было и тени сомнения, что в руках у меня картонный прямоугольник с готическими буквами в мелких дырочках.

Контролер взял обрывок газеты, уверенно прокомпостировал его и подобревшим голосом спросил.

– Зачем же вы с билетом под лавкой едете? Есть же места. Через два часа будем в Берлине...

Его слова окончательно разбудили меня. Я посмотрел контролеру вслед, вытер пот со лба и, бегло глянув в сторону соседа, обнаружил, что тот сидит словно окаменелый, с вытянутым до неестественности лицом. Я показал ему язык, тот сразу очнулся и на глазах посуровел.

Осознав, что опасность еще близка, я дал деру. На ходу бросил обрывок на пол, у двери тамбура обернулся и увидел, что мальчишка поднял его и вертит его в руках. Догадка, что сейчас железнодорожник спохватится, а сосед предъявит ему мой «билет», пришпорила меня. Я рванул дверь и выскочил в тамбур.

Дух перевел в соседнем вагоне, устроившись на лавке и глядя в окно, за которым сквозь завесу дыма пробивались пригороды Берлина. Этот дым, едкий запах дыма, пробелы улиц, такие же серые и унылые, как и выстроившиеся вдоль них дома, запомнились мне на всю жизнь.

Я люблю Берлин, это самый чудесный город на свете. Да, он хмур, неласков, часто однообразен, местами старомоден, переполнен трамваями, но этот город оказался добр ко мне, одиннадцатилетнему беспризорнику. В нем уважают порядок, уважают тех, кто уважает порядок.

Громада Берлина поражала, и в этом скопище громадных, тускло-коричневых, серых и островерхих домов мне предстояло выжить.

Это было нелегким делом, куда более трудным, чем вырваться от соседа по вагону, с арийской самонадеянностью потребовавшего объяснить, с какой стати

я показал ему свой поганный язык.

Свое требование он разъяснил следующим образом.

– Еще никто и никогда не смел показывать язык Вилли Вайскруфту.

Я, будучи схваченным за воротник, не удержался от вопроса.

– Тебя зовут Вилли?

– Да.

– А меня, – надеясь на снисхождение, признался я, – Вольф.

– Мне нет дела до твоего поганого имени. Говори, как тебе удалось повернуть этот фокус с билетом? – он показал мне кулак и предупредил. – Если не скажешь...

Он был прилично одет – бархатная, шоколадного цвета курточка, кожаные штаны до колен и высокие белые носки, каких мне сроду видеть не доводилось. Кроме удивительных носков была в нашем доверительном разговоре еще одна неувязка. Я не сразу осознал ее.

Лицо мое скуксилось, я обмяк и ответил:

– У меня был билет.

– Этот, что ли? – спросил немецкий мальчик и показал мне обрывок газеты.

Он спросил на русском языке!

Это было слишком для одного дня, для одного маленького, порвавшего с прошлым еврейского мальчишки. Я толкнул его в грудь, он упал, и я дал деру.

Немчишка пытался догнать меня, но куда там. Те, кому удавалось вырваться из рук моего отца, были чемпионами в подобном виде спорта.

Мчался до тех пор, пока хватило сил. Затем затерялся в толпе разодетых фрау со вздернутыми носиками, в маленьких шляпках с зонтиками и непомерно большими бантами на спине. С ходу свернул в какой-то двор, огражденный высокими стенами с многочисленными окнами. Здесь почувствовал себя неуютно и, сопровождаемый презрительными взглядами какой-то прачки, снова выскочил на улицу. Добрался до сквера, где играл военный оркестр, там перевел дух и задался вопросом, почему никто не интересуется, что я делаю на улице, как здоровье родителей, не ношу ли с собой вшей, не голоден ли и есть ли у меня пристанище. С городскими сверстниками дело обстояло еще хуже. Возможно, я забрел не в тот район, но здесь, в городском саду, не было мальчишек и девчонок в моем понимании. Здесь разгуливали важные маленькие господа в белых рубашках со странными, завязанными узлом ленточками под подбородком, коротких штанишках и высоких носках, уже виденных мною на соседе по вагону. Что касается девчонок – от этих не то что демонстрации языка, взгляда не дожدهшься, пусть даже я попытался бы пройти перед ними колесом.

Окончательно сразил меня крохотный матрос, шествующий в сопровождении взрослой тети, уставившейся на меня сквозь круглые стеклышки, надетые на красивую палочку. В ее глазах читался откровенный испуг – как бы я нечаянно не коснулся нарядного матросика!

Нужен он мне?! Другое меня интересовало: что это за корабль, на котором служат пятилетние несмышленыши и далеко ли можно уплыть на таком корабле? Помню, в нашей Гуре тоже как-то появился матрос. Мы, мальчишки, ходили за ним табуном, ловили каждое слово. Он был русский, громадный и небритый. С таким было не страшно отправиться в любую даль.

Впрочем, приближался вечер, и Вольфу следовало подумать о ночлеге. О местной синагоге мне и вспоминать не хотелось. Путем расспросов добрался до Драгунштрассе, где останавливались мои земляки из Гуры Кальварии. Там меня приютили добрые люди, помогли с работой. Я устроился посыльным в ночлежный дом, заодно мыл посуду, чистил обувь. Денег мне не платили, обещали кормить, но часто забывали об обещании, так что на голодный желудок, с мыслями о еде мне удалось протянуть до февраля, когда на улице я упал в голодный обморок и меня отвезли в местную больницу. Дежурный врач осмотрел меня и, зафиксировав остановку дыхания, приказал перевезти в морг.

В морге я пролежал до следующего дня – санитары готовили трупы для патологоанатомического музея. Загвоздка вот в чем – состояние, в котором я находился, только со стороны можно было назвать обмороком или, если хотите, смертью. Очнувшись в больнице и услышав приговор врача, я не потерял присутствия духа. Да, я не мог двигать членами, не мог дышать, не мог говорить, но все видел и слышал.

Под словом «все» я подразумеваю не только высказанные вслух слова, но и слова, рождавшиеся в головах тех, кто имел со мной дело. Другими словами, я улавливал странное удвоение голосов, при котором первому, ясно слышимому, вторил другой, дребезжащий, размыто угадываемый. При этом тени слов вовсе не повторяли сказанное вслух, а содержали какой-то иной смысл. Это было что-то вроде смутных оттисков, сопровождаемых уверенностью, что я слышу именно то, что слышу. Каждого, кто подходил ко мне, я видел насквозь и ничуть не обижался, что ко мне относятся как к вещи. Я не испытывал эмоций. Что-то конечно, пошевеливалось в груди, но реакция была отстраненная, потусторонняя, как если бы до кого-то доносился разговор соседей в электричке. Смысл их разговоров вовсе не занимал меня, кроме некоторых незнакомых и удивительно красивых выражений. Например, «патологоанатомический музей». В музеях я никогда не бывал, но слышал о них, и где-то глубоко внутри, из-под спуда, пробился вопрос: неужели и мне доведется побывать в хранилище, где выставлено множество забавных вещей? Никаких иных переживаний я не испытывал.

Это факт, и с ним надо считаться.

В музее меня положили на металлический столик, студент-медик, склонившийся надо мной, обнаружил пульс и тут же вызвал профессора, который и вернул меня в ряды живых. Это случилось на третьи сутки после того, как я упал на улице.

Спасителем оказался господин Густав Абель. От него я впервые услышал о летаргическом сне, вызванном малокровием, истощением, нервными потрясениями; о «медиумах», когда в его доме, в ответ на его мысленный посыл, я взял молоток, разбил молотком кафельную плитку на печке и через образовавшееся отверстие достал из зева серебряную монету.

Профессор развел руками.

– Вы – удивительный медиум, – заявил он.

То, что я не совсем человек, я уже догадывался, но оказаться «медиумом» было сверх всяких ожиданий. Я испытал гордость – ведь не каждый сбежавший из дома мальчишка может называться «медиумом».

– Ты можешь приказать себе все, чего только захочешь, – утверждал профессор. – Главное – уверенность в себе, в своих силах. Ты должен забыть о том, что было с тобой раньше, и включиться в работу по выяснению будущего.

Это была неясная и не совсем понятная цель, но я всеми силами старался помочь профессору и его коллеге профессору Шмидту понять, каким образом – или каким органом – я воспринимаю чужие мысли.

Что я мог ответить?

Их приказы доходили до меня в то мгновение, когда я вдруг начинал испытывать перекося в восприятии происходящего.

Чтобы стало понятнее, приведу пример. С каждым случалось такое – заснув, вдруг соображаешь, что ты во сне, и все, что с тобой творится, происходит в некоем бредовом, потустороннем состоянии. Вспомните хотя бы описания снов: «иду вдоль длинного забора», «очутился в помещении... в поле... в лесу... на краю обрыва...», «вижу себя издали» и так далее. К моменту осознания такого рода яви я и хочу привлечь внимание. Оно, осознание, происходит внезапно, как бы ненароком или мимоходом, – глядь, а я уже здесь. То же самое происходило и со мной. Я как бы просыпался и видел все иначе. С высоты четырнадцатого этажа подтверждаю, что все рассказы, свидетельства, утверждения о «напряжении мысли», «усердном думании», попытке «мысленно приказать» или «уловить» не имеют никакого отношения к тому, что происходило со мной.

Действительно, чтобы уловить чужие мысли или, точнее, приказы (в чем разница, я объясню позже, когда мы побываем у Иосифа Виссарионыча, который очень интересовался такими «штучками-дрючками»), требуется колоссальное напряжение, но в этом деле главное – умение войти в предстартовое состояние, а также навык, позволяющий выбрать подходящего индуктора, то есть человека, чьи мысли воспринимаются легче, чем у кого-либо другого, присутствующего в зале.

Таким исключительно отзывчивым проводником оказалась жена профессора Шмидта, Лора. Это была молодая болезненного вида женщина с чуть раскосыми и, может, оттого ощутимо манящими глазами. Я брал ее за руку, она мысленно диктовала задание – направо, налево, вниз, вверх, ошибка, ошибка, прямо, открыть дверцу, ошибка, следующая полка, следующая полка, ошибка, вправо, вправо, стоп. Книга, возьми книгу, страница, нет, ошибка, нет, ближе к началу, стоп. Хорошо. Строчка. Пятнадцатая строчка, пятнадцатая строчка, ниже, ниже, стоп. Буква.

Стоп, правильно. Хорошо.

Видали бы вы, какими взглядами одаривала Лору супруга профессора Абеля Эрнестина, оказавшаяся никудышным индуктором! Эрнестина полагала, если ее муж отыскивал такого одаренного беспризорника, каким был я, заниматься им должны они и только они, а именно – семейная чета Абелей. Если этот бесенок с головой, похожей на куст сельдерея, утверждает, что не слышит ее, тем хуже для него.

Возмущение Эрнестины, истекающее в виде напористого мысленного потока, было отчетливым и непререкаемым – этот босяк должен научиться воспринимать мои мысли. Ведь каким-то образом он научился погружаться в бездыханное состояние, что, впрочем, неудивительно для маленького бродяги. Следом наваливалась волна смутных, мешавших мне работать обвинений – я знаю, почему он так липнет к Лоре. Это ты, мой любезный супруг, мой Густав, внушил ему, что Лора куда более покладиста, чем твоя законная супруга, которая знает, что такое женская честь, и не пытается завлечь чужих мужчин. Что за имя – Лора?! Оно пристало какой-нибудь гувернантке, а не жене университетского профессора! Впрочем, чем она занималась до замужества, не будем вспоминать. Что ты пытаешься передать ей через этого оборванца, Густав? О чем договариваешься?

Я невольно слышал их всех – Эрнестину, профессора Абеля, Лору. Я вынужденно слушал их. Профессор мысленно транслировал Лоре – «моя добрая», «моя хорошая». Эти четко улавливаемые слова плавали в облаке такой надрывающей сердце печали, такой по-германски протяжной и зыбкой задумчивости, что мне трудно было работать. Ни Густав, ни Лора не могли общаться в сверхчувственном эфире, но им не нужна была телепатия. В ту пору мне было трудно понять потаенный смысл таких выражений – «моя хорошая», «моя

ласточка», «мой хороший», «мой умный». Куда сильнее меня удручала неотвратимость скорого разрыва с приютившей меня профессорской четой. Эта перспектива вырисовывалась передо мной как очень близкое будущее.

Я уже подумывал, не лучше ли самому, не дожидаясь, пока супруга профессора выгонит меня из дома, сбежать на Драгунштрассе, конечно, теперь уже не в качестве мальчика на побегушках. После овладения простейшими приемами погружения в сон наяву и улавливания чужих мыслей, пусть даже малосвязанных и непонятных, по большей части обрывков мыслей, я надеялся занять место полноправного участника шайки, собиравшейся в трактире на Гренадирштрассе и обиравшей горожан и приезжих провинциалов в карты. По праздничным дням (кроме суббот) они занимались распродажами участков на Луне, торговлей «ценными бумагами» несуществующих акционерных обществ, не гнушались и раздеванием пьяных. Это были доходные занятия, но что-то удерживало меня от подобного использования своих талантов.

Что именно?

На этот вопрос ответил господин Абель. Я не вправе раскрывать семейные тайны, но вкратце скажу: мое предвидение скоро сбылось. Чтобы лишить Густава повода видеться с Лорой, Эрнестина потребовала отправить меня в приют. Расстаться с нечаянно свалившимся ему на голову «феноменом» показалось профессору несусветной глупостью, к тому же он не желал ради жениных капризов терять уважение к самому себе. Судя по его раздумьям, уступки такого рода представлялись ему куда более страшным наказанием, чем любая выдуманная Богом кара, ожидавшая грешника на небесах. Однако от помощи Лоры он был вынужден отказаться.

Его переживания до такой степени измордовали меня, что я дал себе слово никогда не рисковать собой и не доводить дело до грани душевного расстройства. Другие заповеди, внушенные профессором, тоже пришлись мне по душе – сытость не вымогается, а зарабатывается, счастья не добиваются, а ищут, и найдет его только тот, кто сохранит уважение к себе и веру в свои силы.

Истины от Абеля открылись мне не до того, как я покинул дом профессора, а после. Ультиматум жены Густав выполнил через два месяца. Все это время я занимался с ним, и только когда Лора скончалась от скоротечной чахотки, Абель, погрузившись в меланхолию, согласился передать меня на попечение господина Цельмейстера, импресарио, тут же перепродавшего меня в берлинский

паноптикум.

Глава 2

Перед первым посещением паноптикума господин Цельмейстер предупредил меня, что я «буду иметь интересную работу». Действительно, выход в люди оказался необычайно щедрым на сюрпризы.

Как только я переступил порог этого заведения, первый же выставленный там экспонат сразил меня напрочь. Вообразите приятного на вид, кудрявого блондина, ловко скручивавшего самокрутку пальцами ног. Затем молодой человек с той же непосредственностью зажег спичку, прикурил и, заметив, что я с открытым ртом наблюдаю за ним, подмигнул мне.

Возле инвалида толпились зеваки, с нескрываемым изумлением наблюдавшие, как тот, удерживая между ногами цветные карандаши, набрасывал портреты посетителей. Как оказалось, это был его дополнительный заработок. При желании можно было заказать инвалиду картину – что-нибудь простенькое, вроде кухонного натюрморта или сельского пейзажа.

Господин Цельмейстер потянул меня за руку и увел в следующий зал, где хозяйничала громадная, обнаженная до пояса толстуха с густой, доходящей до пупка, окладистой бородой. За отдельную плату посетители могли подергать ее за бороду, чтобы убедиться, что она настоящая.

По соседству с ней были выставлены две сестрички – сиамские близняшки, не упускавшие случая привлечь внимание посетителей-мужчин предложением «развлечься». Сознаюсь, я не сразу сообразил, что они имели в виду. Когда же до меня дошло, первым моим побуждением было сломя голову бежать из этого вертепа. Тут же сердце пронзила горечь – куда мне, грешнику, было бежать?

Экспозицию дополняла некая американка, имевшая между лопаток густую ниспадавшую до колен гриву. Показывая ее публике, американка ржала, как лошадь, и отряхивалась, как мокрая собака.

В запечатанной стеклянной ванне хранился труп русалки, чьи ноги внизу срастались в некое подобие нароста, который при желании можно было принять за хвост.

Гвоздем сезона в паноптикуме считалась татуированная пара из Америки. У женщины во всю спину была наколота «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, а на спине мужчины было изображено распятие с подписью «Гора Голгофа». Сентиментальным фрау особенно по душе была женская фигура, державшая в руках свиток с надписью «Не забывай» и подписью «Эмма», а на мужской груди – сплетенные имена «Фредди» и «Эмма».

Надивившись на такого рода экспонаты, в довершении ко всему на пороге директорского кабинета я нос к носу столкнулся с Вилли Вайскруфтом.

Вилли выходил оттуда, но, увидев меня, тут же вернулся в кабинет, где устроился сбоку от просторного, на резных ножках, письменного стола, за которым восседал пожилой мужчина львиного вида, с гривой седых волос и громоподобным голосом. Услышав его, я тут же смекнул, что угодил в ловушку и мне следует быть предельно осторожным. Я не люблю ангелов, вещающих басом.

Но это мельком.

Куда более меня интересовал Вилли, его в высшей степени изумленное лицо и его свободное поведение в таком роскошном кабинете. Позже, сопоставив размеры помещения, принадлежавшего Вайскруфту-старшему, с размерами, например, сталинского кабинета, а также с отделанным деревянными панелями залом начальника новосибирского НКВД, я сообразил, что кабинет хозяина паноптикума был не такой уж роскошный, и сам герр Вайскруфт не так страшен, но в первые мгновения меня ужаснула мысль, что теперь они возьмутся за меня вдвоем: отец и сын – родство открыто читалось на их лицах, – и вырваться от них в запертом помещении не было никакой возможности.

На господина Цельмейстера не было никакой надежды, ведь это он привел меня сюда. Самое большее, на что я мог рассчитывать, это требование прекратить избиение и угроза позвать полицию. Господин Цельмейстер был не из тех людей, кто засучив рукава готов броситься в бой за правду. Мой импресарио предпочитал жить фразами. Он без конца напоминал своим подопечным: «Надо

работать и жить!» Понимал он эту заповедь своеобразно. Обязанность работать господин Цельмейстер предоставлял мне, себе же оставлял право жить, понимаемое весьма узко. Цельмейстер любил хороший стол, марочные вина, красивых женщин... И имел все это в течение длительного ряда лет за мой счет.

К счастью, первая встреча с семейкой Вайскруфтов закончилась в высшей степени мирно, и в этом несомненная заслуга Вилли, в присутствии отца признавшегося, что имел счастье встречаться со мной раньше, когда возвращался домой из Прибалтики. Он даже упомянул насчет билетов, что вполне соответствовало моему нынешнему виду и одежде. Господин Цельмейстер перед встречей приодел меня. Я стал похож на берлинского Гавроша из хорошей семьи – в ту пору даже состоятельная молодежь увлекалась модерновой идеей солидарности с трудящимися, так что пиджачок, расклешенные брюки, свитер под пиджачком, кепка набекрень вполне соответствовала духу времени. Главное, вещи были добротны и не рваны, а это для немцев самое главное.

Насчет билетов Вилли выразился в том смысле, что мы – «мы!» – познакомившись на вокзале, решили ехать низшим классом и сэкономить деньги на мороженое.

Август Вайскруфт хмуро выслушал его и завил:

– Мне плевать на мороженое! Что он умеет, господин Цельмейстер?

– О, этот мальчик – чудо природы, господин директор. В его способностях убедился профессор Абель...

– Мне плевать на профессора Абеля. Что он умеет?

– Все, господин директор. Например, лежать в гробу или отыскивать всякие спрятанные предметы.

– Отыскивать предметы нам не надо, у нас серьезное заведение. Публика сочтет такой фокус мошенничеством, а вот лежать в гробу...

Он задумался.

– Сколько?

– Что сколько?

– Как долго он может изображать умершего?

– Сколько угодно господину директору, – ответил мой импресарио.

– Я хочу, чтобы он ответил сам. Как долго ты можешь лежать в гробу? День, два, неделю.

В ту пору я был глуп в практических вопросах, и обуявшая меня неуместная гордыня толкнула на самый неразумный ответ в моей жизни. Вольф оказался склонен к похвальбе.

Я вытаращил глаза и заявил, что могу пролежать две недели.

– Это ты врешь, – рассудил директор паноптикума. – А вот неделя меня бы вполне устроила. Расчет за неделю.

Первым ловушку заметил импресарио.

– Господин директор шутит? – ласково спросил он. – Мальчику надо ходить в школу. Мальчик – уникум. Сам профессор Абель согласился заниматься с ним, на это тоже нужно время.

Сошлись на трех сутках – в пятницу вечером я должен был ложиться в гроб и лежать там до утра понедельника. Так что неделя у меня была свободна, и я, осознавший, что гордыня и глупая похвальба могут далеко завести человека, не пропускал занятий с профессором Абелем.

Скоро я оброс товарищами – познакомился с кобылой в человеческом облике, ее звали Бэлла; с разбитными сестричками Шари и Вари, с безруким инвалидом Гюнтером Шуббелем.

С Вилли мы тоже сошлись. Правда, наше общение трудно было назвать дружбой, но мы больше не пускали в ход кулаки, а порой даже вместе гуляли по городу.

Вилли, каким бы гордецом он ниставлял себя, все время пытался докопаться, каким образом я впадаю в смертельную спячку, почему не чувствую боли, как читаю чужие мысли и отыскиваю спрятанные предметы. Однажды он напросился со мной к профессору Абелю. Там, когда он попытался исполнить роль индуктора, я впервые проник в его тайные помыслы.

Его мечтой была власть над миром.

Точнее, он хотел завоевать мир и положить его к ногам кайзера, портреты которого в стальном шлеме с игрушечным набалдашником были развешаны по всему Берлину. Кажется, его звали Вильгельм, точно не помню.

У Вилли была собственная, дотошно продуманная программа, как добиться поставленной цели, в которой нашлось место и Мессингу. Мне отводилась роль индуктора, с помощью которого Вилли намеревался овладеть «тайным знанием» предков. От него первого я услышал легенду об Одине или Вотане, девять дней повисевшем на дереве и сумевшим проникнуть в тайну древних рун.

Это случилось в те времена, когда боги бродили по земле, покровительствовали героям, и каждый из героев, совершив подвиг, мог надеяться оказаться в Валгалле, куда их доставляли небесные девы – валькирии. В ту пору сила скапливалась не только в оружии, но и в таинственных знаках, называемых рунами. Тот, кто сумел проникнуть в их смысл, мог составить заклинание такой силы, которая сокрушила бы всякое зло и его порождения, неисчислимо выползавшие из подземного мира Хелль – от злобных великанов-ётунов до мертвецов, мерзких карликов и орков.

Однажды Вотан был ранен копьем и его, беззащитного, без воды и питья, на девять дней и ночей привязали к дереву Иггдрасиль. Ценою боли к Вотану пришло понимание рун, из которых он составил восемнадцать заклинаний, заключавших в себе тайну бессмертия, способность к врачеванию и самоизлечению, искусство побеждать врага в бою и власть над любовными страстями.

Вилли настаивал, чтобы я, укладываясь в гроб, прислушивался к голосам, доносившимся до меня из потустороннего мира. Во время трехсуточного сеанса меня взаправду кто-то окликал, скорее всего, это были голоса посетителей, но я поверил Вилли. Меня захватила игра образованных людей, ведь это было так

увлекательно – поспособствовать раскрытию тайны древнего письма, о котором, со слов Гидо фон Листа и Хаусхофера, с неподражаемой убежденностью рассказывал Вилли. Он убеждал меня «отдаться голосу зовущего», тогда перед человечеством, точнее, перед «нордической расой» как его квинтэссенцией, откроется дорога к подлинной свободе, равенству, братству. Область, где осуществляются самые заветные мечты, он называл по-разному, но всякий раз непонятно – островами Блаженных, городом богов Асгардом, запретным Аваллоном, иногда Эдемом или райскими кущами. В ту пору Вилли еще не был склонен к презрению к «инородцам» и подчеркивал, что в кущах найдется место всякому, независимо от его «крови». Главное – готовность человека услышать «зов предков», умение проникнуть в смысл древних заклинаний. Это было мне понятно, ведь, с одной стороны, образ мыслей Вилли отличался презрением к предрассудкам, навязанным прогрессом, с другой – его матерью была Мария Федоровна Толстоногова, урожденная дворянка из прибалтийских губерний, где она имела счастье познакомиться с цирковым дрессировщиком Августом Вайскруфтом. Какая причина толкнула госпожу Толстоногову выйти замуж за циркача, говорить не буду, Вилли старательно обходил эту тему.

Из-под небес могу добавить, что старший Вайскруфт родился в хорошей семье. В юности, поступив на военную службу, он был изгнан из армии за какой-то проступок. К мирной жизни вернулся, как и небезызвестный «мистер Х», без имени, без состояния, без родственных связей.

Идеи сына господин Вайскруфт считал откровенной блажью и не раз при мне заявлял, что не для того он «дал сыну образование», чтобы тот морочил себе голову «магией» и «чернокнижием» или «напялил» офицерский шлем и заодно промотал отцовское состояние. Он настоял, чтобы Вилли учился коммерции. Сын повиновался, однако закончить курс ему не удалось. Началась война, и в пятнадцатом году Вайскруфт-младший добровольцем ушел на фронт. Знание русского языка привело его на Восточный фронт, там он попал в плен. В Германию вернулся в восемнадцатом году, полный ненависти к большевикам, а также к тем, кто своим предательством довел родину до позорного поражения.

Но это случилось позже, а в ту пору противовесом сказкам Вайскруфта-младшего были весьма приземленные, порой циничные острооты безрукого Гюнтера Шуббеля. Он любил проехаться насчет господина Цельмейстера и «зажималы» Вайскруфта-старшего, которые любят сытно поесть за чужой счет. От него первого я услышал о «классах» и «эксплуататорах», о «пролетариате» и «его миссии». Гюнтер был родом из Вединга. Это был самый бунтарский район

Берлина, заселенный преимущественно самыми отчаянными пролетариями, как, например, район возле площади Бюлова, ныне площадь Розы Люксембург, и Мюнцштрассе и приютившей меня Драгунштрассе, считался еврейским кварталом. Здесь селились бежавшие с востока соотечественники, здесь они устроили добровольное гетто.

Нелепая или, если хотите, трагическая, случайность на заводе «Фанеренверке» закончилась для Гюнтера ампутацией обоих предплечий, и ему, мечтавшему о карьере художника, поневоле пришлось искать свой путь в жизни. Найти-то он нашел, только спокойствия ему это не прибавило. Зарабатывая в паноптикуме на кусок хлеба, он пытался понять, почему кусок так мал. Шуббель первый предостерег меня от свойственного беднякам пренебрежения к наукам, и за это я по сей день, даже пребывая на высоте четырнадцатого этажа, благодарен ему. Он свел меня с моим будущим и недолгим счастьем – со своей двоюродной сестрой Ханной, которая взяла надо мной опеку. Я благодарен ей за то, что с ее помощью научился читать и писать по-немецки, а также за то, что Ханна сделала меня мужчиной, причем не походя, а по взаимному чувству, память о котором до сих пор греет мне душу.

Я доверял Гюнтеру не только потому, что мы были схожи – он существовал без рук, я с бельмом в мозгу, – и трудности и невзгоды, которые ему пришлось претерпеть в жизни, были близки мне, но и потому, что разглядел в нем нестигаемое уважение к себе. Я очень ценю в людях это свойство, так как, только имея подобную опору, можно добиться чего-то большего в жизни, чем сытое пропитание. Гюнтеру было за что уважать себя, ведь он замечательно владел ногами. Не было числа фокусам, которые он выделял нижними конечностями. Один из них спас мне жизнь, но об этом после...

Насчет картин ничего сказать не могу, мне всегда не хватало художественного вкуса, и единственные предметы, которые я с удовольствием коллекционировал, – это драгоценные камни, как, например, знаменитый перстень с громадным, чистейшей воды изумрудом, пропавший в день моей смерти. По совету Гюнтера я приучил себя внимательно следить за техническими новинками и научными открытиями, начал интересоваться политикой. Вскоре жизнь подтвердила важность подобного отношения к миру. Когда мне посчастливилось познакомиться с Альбертом Эйнштейном, я очень повеселил его заявлением, что одобряю попытку ученого доказать, что все вокруг относительно.

Эйнштейн недоуменно глянул на меня и признался:

– Я, вообще-то, имел в виду другое. Мир физических величин. Другими словами, если исчезнут «вещи», исчезнет также «пространство» и «время». Что касается «всего»... – он развел руками.

– Ну как же, профессор, – объяснил я. – Ответьте, три волоса – это много или мало?

Профессор задумался.

– Если на голове, то мало.

– А в тарелке с супом?

Эйнштейн засмеялся и на прощание предложил:

– Будет плохо – приходите ко мне...

Зигмунд Фрейд, всерьез занявшийся мной в 1915 году, научил меня искусству самовнушения и умению глубоко сосредотачиваться на каком-нибудь предмете. Это очень помогало, когда мне приходилось отыскивать пропавшие драгоценности и документы. Шестнадцатилетний мальчик, мог ли я не попасть под власть этого интересного, глубокого, я бы сказал, могучего человека?! Свою власть Фрейд употребил на благо мне. Более двух лет продолжалось наше близкое знакомство, которое я и сегодня вспоминаю с чувством благодарности. Он подтолкнул меня к изучению психологии, чем я активно занялся, поселившись в Вильно. Но это случилось уже после Первой мировой войны. В любом случае я знаю русский, польский, немецкий, древнееврейский... Читаю на этих языках и продолжаю пополнять свои знания, насколько позволяют мне мои силы.

К моему удивлению, не кто иной, как господин Цельмейстер, попытался грудью преградить мне дорогу к знаниям. Всеми доступными средствами он пытался отвести меня от встреч с Ханной и вообще от всяких неподконтрольных ему встреч. Он подозревал каждого, с кем я дружил, в попытках отбить всецело принадлежавший ему «сладенький кусок», каким являлся Вольф Мессинг.

Признаюсь, в ту пору я был молод и глуп, и до поры до времени Цельмейстер казался мне благодетелем, ведь за пребывание в хрустальном гробу я получал пять марок в день – это было неслыханное богатство. В двенадцатом году я отослал в Гуру Кальварию письмо, в котором сообщил, что мне удалось выбиться в люди (точнее, в «уроды», но об этом я предпочел не упоминать). К письму приложил несколько десятков марок.

Доставленный вскоре ответ и, более всего, короткая приписка в конце заставили меня задуматься о содеянном, начиная с побега из иешивы и кончая занятиями у профессора Абеля, который неоднократно повторял: «Развивайте ваши способности! Не давайте им заглухнуть и забыться! Тренируйтесь!»

Письмо повергло меня в такую меланхолию, какая и не снилась профессору Абелю. Я разглядывал строчки, они расплывались перед глазами. Как наяву передо мной предстала Гура, местный раввин, который под диктовку отца писал, что семья благодарит меня за помощь. Далее шли пожелания – не дерзи, чти «завет», соблюдай субботу, слушайся профессора и господина Цельмейстера, они, по всему видно, достойные люди. В конце короткая приписка: «Мать желает тебе маленького счастья».

Всю ночь я не мог заснуть. Из головы не выходили наш кормилец – цветущий сад с яблочной завязью; мама, вымаливающая у Господа Бога крохотное счастье для своего бедового сыночка.

На следующее утро мне надо было отправляться на службу в паноптикум, где меня ждал хрустальный гроб. Устроившись в гробу, я погрузился в летаргический сон и нацеленно отправился в иные пространства. Вновь попытался проникнуть туда, где не ступала нога человека, куда не проникал человеческий взгляд.

Я веду речь вовсе не о мистическом, нарочито бредовом, потустороннем эфире, которым пользуются шарлатаны, а о вполне реальном, пусть в то время и недоступном будущем, которое мне хотелось прочувствовать и понять. Очнувшись в понедельник, я внезапно осознал, что в видениях, относящихся к надвигающемуся грядущему, не было и намека на моих родных, на домик в Гуре Кальварии.

Будь я догадливей, я бросил бы все и помчался в Польшу. Я взял бы их всех, отправил куда подальше. К сожалению, в те годы мне не хватало ни знаний, ни опыта, ни кругозора. Ослепленный гордыней, я счел отсутствие очерченных предвидений свидетельством того, что наши пути окончательно разошлись. Более того, втайне я даже гордился, что стал медиумом и осознал себя в качестве спустившегося со звезд или из каких-нибудь иных неизвестных пространств существа. Грядущее настигло меня в Советской России. Мне было жестоко отпущено за слепоту и бесчувственность. Воспоминание о медитации, которую я испытал, получив письмо из дома, всю жизнь убивало меня. Этот урок я осознал в Берлине в 1921 году, и с той поры во время «психологических опытов» постоянно, порой успешно, порой нет, старался воплотить в реальность то, что открывалось мне в минуты ясновидения. Очень трудно согласовать себя «чужого» с собой «здешним», для этого требуется особое мастерство. Даже теперь, витая на уровне четырнадцатого этажа, я не могу похвалиться, что в полной мере справился с такого рода разладом. По сравнению с ним всякие иные противоборства, как-то – «классовая борьба», «зов крови», «голос предков», даже страдания Одина и заповеди Талмуда, представляются мне несущественными.

* * *

Все свободное время я проводил у профессора Абея или в компании с Ханной. С этой строгой длиннющей девчонкой мы занимались немецким, а у профессора Абея, в конце концов примирившегося и с женой и с потерей Лоры, я осваивал нечувствительность к боли, а также практику улавливания чужих мыслей. Эти чудеса настолько были мне в охотку, что даже свободное время я тоже посвящал тренировкам.

Чаще всего направлялся на ближайший рынок, шел между рядами и вслушивался в чужие мысли. До меня долетали – или доносились? – скорее, доносились, – отдельные, порой округлые, краткие, как вздохи, слова-судороги. Сначала я отчетливо улавливал лишь междометия. Существительные и глаголы, содержащие смысл, с трудом и очень редко давались мне. Скоро в голове начали проступать отдельные слова, что-то вроде лепета – дочка, корова, доить, справится? поросята, умная.

В первый раз, уловив такой протяженный ряд и осознав, что понимаю, о чем идет речь, мне нестерпимо захотелось, даже рискуя нарваться на грубый отпор,

проверить отгадку.

Я подошел к прилавку и, проникновенно глядя в глаза женщине, успокоил ее.

– Не волнуйся... Дочка не забудет подоить коров и дать корм пороссятам... Она хоть и маленькая, но крепкая и смышленная...

Торговка ошеломленно всплеснула руками, ее возглас убедил меня, что я не ошибся.

Открытием стало осознание простейшего как мычание факта, что в колдовском деле, как, впрочем, и в любом другом, связанном с искусством понимания «другого», способность с первого взгляда определять свойства его характера, эмоциональное состояние, даже уровень и предмет его мысленных усилий, имеют не меньшее, а может, и большее значение, чем прорывающиеся из телепатического эфира словесные образы, пейзажи, натюрморты и сюжетные последовательности фраз.

Обратимся к собственному опыту. Любой способен ощутить эмоциональный настрой собеседника и либо проникнуться к нему сочувствием, либо возненавидеть его, либо окатить равнодушием. Способность улавливать мысленные образы всего лишь дополняет присущее людям от рождения свойство понимать другого. Конечно, овладев определенными навыками, можно расширить список улавливаемых слов, обострить телепатический слух, тем не менее вне общей атмосферы, вне личного контакта мне сначала было трудно разгадать смысл потаенного высказывания.

Это условие напрямую касалось проникновения в будущее. Чаще всего я разглядывал всплывающие в голове картинки как некий калейдоскопический кроссворд, в котором трудно, а порой просто невозможно, разобраться. То же самое можно сказать и о словесных образах! Например, фраза, почерпнутая в начале следующего, двадцать первого века, – «прикинь, сколько комаров!» сразу поставила меня в тупик. Или: «Я буквально в осадок выпал». Выговоривший эту фразу неопрятного вида молодой человек с лиловыми (sic!) волосами, зачесанными в форме гребня, мало напоминал осадок, хотя, я не спорю, по уровню умственного развития он вполне мог соответствовать осадку.

Еще труднее обрабатывать впечатления, касающиеся технических новинок или моды.

Единственное, что всегда и везде улавливалось отчетливо – это всякого рода «измы», которые, где бы я ни побывал, по-прежнему не давали прохода людям. «Коммунизмы», «либерализмы», «империализмы» и тому подобные вирусы, а также ненависть к чужакам, увлечение саморазрушением, потребность в лицемерии всякого рода непристойностей, поклонение кумирам, пусть даже они являют пример совершенно бездарного пения или напыщенно-голосистой артистической игры, – буквально витали в воздухе. Эта чума способна отравить даже самый здоровый дух даже в самом здоровом теле.

Освоив с помощью профессора Абея психофизическую практику нечувствительности к боли, а также умение пользоваться идеомоторными актами, я ушел из паноптикума. Господин Цельмейстер сдал меня в аренду в знаменитое варьете «Винтергартен» – «Зимний сад». Там у меня был собственный номер. Это было безусловное продвижение по службе – теперь я не застывал бездыханным в гробу, а двигался, имел реплики и помощников.

Номер был срежиссирован с точно просчитанной долей таинственности и постепенным нагнетанием ужаса. На сцену выходил молоденький факир с лицом безумного Чезаре, героя популярного тогда ужастика «Кабинет доктора Калигари». Мне кололи иглами грудь, насквозь прокалывали шею. Затем на сцену выпускали миллионера в цилиндре, блестящем фраке. Его пальцы были унизаны перстнями с ярко поблескивающими самоцветами, на животе толстенная золотая цепь, к которой были прикреплены золотые часы. Все эти предметы миллионер демонстрировал с нескрываемым самовольством и напыщенностью. На сцене появились разбойники. Они «убивали» миллионера, а его драгоценности раздавали сидящим за столиками посетителям с просьбой спрятать в любом месте, нельзя было только выносить их из зала.

Наконец в зале появлялся молодой сыщик. Сами догадайтесь, кто его представлял.

На этот раз на моем лице не было и следа безумия – напротив, от меня за версту веяло умением пронзать взглядом всякую преграду. Вольф Мессинг осторожно двигался по залу и, внезапно задержавшись у того или иного столика, просил прелестных дам и уважаемых господ вернуть ту или иную драгоценность, спрятанную там-то и там-то. Часы чаще всего прятали в задних карманах брюк, а

бриллиантовые запонки – в женских туфельках или сумочках. Однажды, правда, мне пришлось потрудиться и попросить даму достать из высокой прически перстень с поддельным изумрудом.

Номер этот неизменно пользовался успехом. Многие стали специально приходить в «Винтергартен», чтобы посмотреть на меня.

Популярность распахнула передо мной двери знаменитого цирка Буша, размещенного в самом большом перекрытом здании Европы. Внутреннее пространство цирка было ужасающе громадно. Увидав его, я обомлел. Здесь помещалось более тысячи человек: смогут ли они все оценить мое искусство?

В цирке Буша мы уже не «убивали миллионера» и не раздавали его драгоценности посетителям, а, наоборот, собирали у них разные вещи. Потом эти вещи сваливали в одну грудку, а я должен был разобрать их и раздать владельцам. Общий леденящий антураж номера – прокалывание шеи и рук острыми спицами – остался прежним.

Понемногу я становился все более известным, а мой импресарио, господин Цельмейстер, – все более представительным. Лицо у него округлилось, он заметно располнел, и прежняя торопливая угодливость при поисках ангажементов сменилась откровенной ленцой в обращении с хозяевами развлекательных заведений. Однако за мной он присматривал по-прежнему зорко и, уловив, что наши отношения с Ханной начали перерастать в нечто большее, чем дружба, ловко сыграл на самой пагубной страсти, которая многих сбивала с верного пути, – на честолюбии.

Мне тоже не удалось избежать этой напасти, и теперь с высоты многоэтажного дома признаю, что во многих своих неудачах виноват я сам. Я утверждаю, что не любовь к деньгам, точнее, страх перед их отсутствием, которым страдают все, выбившиеся из нищеты, не какое-то запредельное себялюбие, не обстоятельства, а именно ложно понятое честолюбие, точнее, гордыня, лишила меня возможности заняться, например, научной работой или политикой, куда настойчиво звал меня Гюнтер Шуббель, как, впрочем, и Вилли Вайскруфт. В сущности, я всегда стремился понять самого себя, и лучшего пути для этого, чем изучение психологии, не существует. К сожалению, уверовав в свою исключительность – ненавистную, должен сознаться, исключительность, – я попался на удочку господина Цельмейстера. отведав капельку славы, вкусив мед восхищения, оказавшись модной темой для разговоров, я прошел мимо чего-

то очень важного. Нет, я не потерял самого себя, однако отрицать тот факт, что со временем я превратился в некое пугало, непонятное, а посему чуждое, не похожее на другие существа, – не берусь.

Шаги судьбы редко выглядят изящно. Рок ступает твердо, не глядя под ноги, безжалостно давит мечты, надежды, любовь. В борьбе с судьбой мольбы не помогут, жалобы тоже, и все-таки...

Что я мог противопоставить Мефистофелю, прикинувшемуся господином Цельмейстером? В ту пору мне исполнилось пятнадцать, и оказаться в числе звезд, выступавших на арене цирка Буша, каждый артист счел бы величайшей удачей.

Обрастая славой, я тем не менее всерьез задумывался об университетском образовании. Мной владело модное в ту пору увлечение наукой. Я верил, что она всесильна. Скорее всего, так оно и есть, но все-таки употреблять такие слова, как «всесилие», «двигатель прогресса», «тайны мироздания», следует крайне осторожно и только по делу. Размахивание такого рода лозунгами грозит людям неисчислимыми бедствиями – это я заявляю ответственно.

Итак, я хотел поступить в университет. Классовая борьба, о которой настойчиво твердил Гюнтер, не занимала меня, тем не менее я был не прочь поспособствовать тем, кто боролся с несправедливостью. Однако я настаивал, что бороться можно по-разному, каждому по-своему – это святое право человека, и в этом меня поддержала Ханна. Мы с ней уже всерьез прикидывали, когда я смогу сдать экстерном школьный курс и поступить в университет. При этом я вовсе не желал расставаться с эстрадой, разве что было бы полезно распрощаться с господином Цельмейстером. Мне тогда казалось, что еще год-два, и я вполне смогу обойтись без импресарио. Это была наивная и, как оказалось впоследствии, нелепая мечта.

Последней каплей, подтолкнувшей меня к решительному разговору с Цельмейстером, послужила поездка в Потсдам, где нам с Ханной невероятно повезло – мы оказались на съемках какой-то комической ленты. Я уверял Ханну, что она попала в кадр, ведь я вижу насквозь. Она и верила и не верила, но втайне гордилась, что у нее такой необыкновенный кавалер. Боги, как я старался поддержать ее в этой мысли! Как старался внушить, что она дорога мне! Про себя я называл ее «моя хорошая», «моя добрая», – и она отзывалась накатом каких-то совершенно неисследованных, обволакивающих меня волн.

После посещения студии в Бабельсберге мы катались на лодке, затем поужинали в маленьком ресторанчике, после чего, взяв друг друга за руки, отправились в маленькую гостиницу, где мне пришлось назваться взрослым и для убедительности сунуть хозяйке несколько лишних марок.

Мы остались одни, и я растерялся. Чулок Ханны, свисавший со стула, привел меня в каталептическое состояние. В тот миг со мной можно было делать все, что угодно. Ни с того ни с сего вспомнился отец, требовавший строго соблюдать субботу; о том, чтобы согрешить в святой день, нельзя было даже помыслить! Я схватился за эту идею, как за соломинку, попытался лихорадочно припомнить, что за день сегодня, и никак не мог вспомнить.

Улегшись рядом с Ханной, необыкновенно горячей и крепкой, я совсем растерялся. Тогда она сама обняла меня и исполнила то, чего я мысленно добивался, чего добиваются все мужчины. Отступить в решающую минуту значило потерять уважение к самому себе. Удивительно, в голове Ханны я тоже уловил страх – страх потери девичества, страх, что я непредсказуем, что от меня можно ждать любого фортея, и, если сейчас ею пренебрегут, она возненавидит себя за «доступность».

Как говорится, делать было нечего! Я взял «его» в руки.

Стоило только начать! Мы провели в гостинице всю субботу и воскресенье, в понедельник я едва не опоздал на представление. Всю дорогу до Берлина мы с Ханной обсуждали, как будем копить деньги для обучения. Она была старше меня на два года, и ей предстояло поступать первой, затем я присоединюсь к ней, и мы будем вместе грызть гранит науки. Ханна, прошедшая начальный курс марксизма у двоюродного брата, собиралась овладеть экономикой, полагая, что только эта наука может помочь делу освобождения рабочего класса. У меня сомнений не было, моя стезя – психология, правда, я даже не задумывался, способна ли наука о психической деятельности мозга поддержать пролетариат в его борьбе с реакционной буржуазией. Оказалось, что способна, да еще как! Это был правильный выбор, так как насчет условных рефлексов и поведенческих мотивов я знал куда больше, чем сам господин Павлов или господин Уотсон.

Когда я сообщил господину Цельмейстеру о том, что собираюсь поступать в университет, он нахмурился и напомнил, что «учение дорого стоит». Затем похлопал по плечу и сообщил, что готов помочь мне в таком трудном деле, тем более что мне представилась прекрасная возможность заработать. Для этого

всего-навсего надо отправиться на гастрели в Вену.

Шел 1914 год. Началась война с ее неслыханной жесткостью, военными парадами, громкой музыкой, обилием портретов кайзера Вильгельма, буквально заполонивших витрины магазинов. Каждая фотография была украшена цветами. В моем воображении Берлин вдруг стал походить на гигантское, заваленное цветами кладбище. Здесь и пахло так же. Этот дух шел от самых здоровых и крепких молодых парней. Все это, как, впрочем, и нестерпимо-восторженный энтузиазм Вилли Вайскруфта, а также озабоченность судьбою нации, которая внезапно завладела Шуббелем, – сбивало с толку.

Когда Гюнтер заявил, что в такое время нельзя оставаться в стороне и каждый должен помочь отечеству, я потерял дар речи – ведь ранее безрукий революционер утверждал, что всякая война есть проявление «классовых противоречий» и «буржуазная драчка». Теперь оказалось, что есть войны «справедливые» и «несправедливые», «священные» и «нецивилизованные». Родина, заявил он, вправе потребовать от нас любых жертв для защиты германских святынь и родных очагов от покушения диких славян, развратных французов и жестокосердных англичан, на что Ханна возразила брату – почему-то первой жертвой этой войны стала она, германская женщина. Отца призвали в армию, и теперь ей придется кормить семью. Об университете можно забыть. В ответ Гюнтер развел обрубками, а у меня в ментальной сфере, под самой ложечкой, внезапно засосало. Мне внезапно померещилось, что ее маленькое разочарование вполне сопоставимо со всеобщим затопившим улицы Берлина энтузиазмом. Эта нелогичность, невозможность признать справедливым пренебрежение гигантских «измов» мечтами любимой женщины, сожалеющей об утерянном будущем, – только сожалеющей! – образумили меня, ведь, признаюсь, я тоже оказался подвержен ура-патриотической чуме и начал задумываться о посильной помощи фронту. Господин Цельмейстер охотно поддержал меня. Потирая руки, он заявил, что мой долг «еще усерднее» развлекать публику и внушать ей «подлинно национальные идеалы». Теперь в цирке несчастных зрителей обирали статисты в русской, французской, английской военных формах, а раздавали найденные мною вещи бодрые и воспитанные солдаты рейхсвера. Признаться, сам я тоже сменил фрак на малиновый китель с золотыми галунами. На этом петушино-опереточном сочетании настоял господин Цельмейстер, которому с помощью такого рода яркой злободневности удалось резко поднять ставку за мои выступления.

На мою робкую просьбу взять Ханну с собой в Вену как мою ассистентку Цельмейстер ответил решительным отказом. У меня не хватило кругозора настоять.

Проводив отца, хмурого и вечно рассерженного человека, на фронт, Ханна устроилась швеей в одном из ателье в Шарлоттенбурге. Мы встречались до самого моего отъезда в Вену. Оттуда в 1917 году я и господин Цельмейстер отправились в гастроль по миру, и Ханна скоро отодвинулась от меня на расстояние очень редких писем. Мы побывали в Аргентине, Бразилии, Японии. Впечатлений было столько, что нередко я забывал отвечать Ханне. Письма от нее настигали меня все реже и реже. К сожалению, на таком расстоянии я не мог уловить ее мысли, но хотелось верить, она думает обо мне, помнит меня.

Глава 3

В Берлин я вернулся весной двадцать первого. В Германии через три года после окончания войны все еще стреляли. Иногда на железнодорожных станциях начиналась пальба, по вагонам стихийно несло пугающе-радостное – «Фрейкоры!» – или радостно-пугающее – «Рот фронт!» И в первом и во втором случае господин Цельмейстер сразу прятал бумажник. Купе после случая в Гамбурге, где революционные матросы прикладами вышибли дверь, он не запирали. Начальник патруля посоветовал моему импресарио в дальнейшем оставлять дверь открытой, чтобы красногвардейцы не заподозрили чего-нибудь дурного.

– А то ведь знаете, как бывает, герр артист, – обратился он к Цельмейстеру. – Взбредет кому-нибудь в голову, что в купе контра, и начнет стрелять. У нас тоже дураков хватает.

– Конечно... Обязательно, герр матрос, – закивал Цельмейстер.

Меня тогда поразила глубина бессмыслицы, заключенной в этом совете, ведь после того, как революционные матросы расколошматили дверь, закрыть ее не представлялось возможным.

Так мы въехали в революцию, с восемнадцатого года сотрясавшую Германию. То, о чем писали мировые газеты, не давало даже приблизительного представления о том, в какой сумасшедший дом превратилась приютившая меня когда-то, а теперь поникшая, побежденная страна. На подъезде к Северному вокзалу меня напрочь сразило зрелище стоявших на летном поле сотен новеньких аэропланов. По полю ходили самодовольные французы и кувалдами крушили самолеты – отбивали хвосты, ломали моторы. Этот пир победителей едва не вогнал меня в каталептическое состояние, ведь, возвращенный на берлинских мостовых и здесь вышедший в люди, я был уверен, что все германское – лучшее в мире, и крушить кувалдами самые быстрые и самые надежные аппараты граничило со средневековым варварством.

Берлин встретил нас выстрелами, Северный вокзал – грязью и валявшимися на полу обрывками газет (что вообще было немыслимо для аккуратных берлинцев), улицы – редкими прохожими. Сгинули портреты «любимого кайзера», нигде не слышно военных оркестров. Фонари стали редкостью, и с наступлением темноты улицы буквально омертвечились. Пока мы добирались до гостиницы, до нас изредка доносились вопли запоздавших граждан и вой одичавших собак. Ужин в гостинице оказался более чем скромный – бутерброд с сыром в ресторане стоил столько же, сколько бутылка самого дорогого шампанского, так что спать мы легли на голодный желудок.

На следующий день, когда мы с господином Цельмейстером вышли из гостиницы, нам навстречу проехал грузовик, из кузова которого, словно из спины ежа, во все стороны торчали винтовочные штыки и красные знамена. Один из ротфронтовцев, заметив, что я открыв рот наблюдаю за ним, вскинул сжатый кулак.

Я, как производное еврейского народа, склонного ко всякого рода исступлениям и подражаниям, в ответ тоже поднял руку, при этом пальцы как-то сами собой неловко сжались в кулак. Господин Цельмейстер буквально онемел и до самого цирка пытался разъяснить, что «марка упала настолько, что господам солдатам и господам рабочим нечем платить за билеты на мои выступления», посему мне следует держаться от них подальше. Затем он произнес историческую фразу: «Скоро наступит голод и на улицах будут стрелять».

Я едва не сорвался – остро захотелось напомнить, что в городе уже три года стреляют, но промолчал. Господин Цельмейстер настолько надоел мне, что вступать с ним в спор, тем более указывать ему на очевидное, значило терять

уважение к себе. Если бы не контракт и сомнения в верности Ханны, я бы давно расстался с ним.

Ханна, моя Ханни! Я надеялся на нее, как на соломинку! Я верил, что, вернувшись к истокам, на дороге моему сердцу берлинские мостовые, мне наконец удастся избавиться от непомерно располневшего господина Цельмейстера. Все мои надежды были связаны с Ханной, с ее редким здравомыслием и деловитостью. Только ей я мог доверить себя. Она занялась бы ангажементом, Вольф подготовил бы новую программу, и уже через несколько лет мы добились бы финансовой независимости, а следовательно, и свободы.

Мое имя и фамилия аршинными буквами печатались на первых полосах самых известных газет. Обо мне судачило радио в самых разных частях земного шарика, в примитивной шаровидности и миниатюрности которого я убедился на собственном опыте. Меня не беспокоили судебные издержки из-за разрыва контракта с господином Цельмейстером. Вольфу казалось, что, умея находить предметы в карманах состоятельных граждан, он сможет запросто извлечь оттуда и звонкую монету. Мы с Ханной накопили бы деньги и по-настоящему взялись за учебу.

С высоты четырнадцатого этажа хочу заметить, что эти меркантильные расчеты были густо приправлены воспоминаниями о прелестях любимой женщины. Мечтая о ней, я буквально таял.

Первое, на что сделал ставку господин Цельмейстер, был цирк Буша, однако в тот день нам так и не удалось встретиться с герром директором. За три года здесь практически забыли о цирковых представлениях. Хозяин за хорошие деньги сдавал громадное помещение митингующим самых разных политических окрасов. Нам повезло попасть на митинг правых, сорвать который левые посчитали делом чести. Драчка получилась немалая, с револьверной пальбой, воем полицейских сирен, наездом солдат, пытавшихся перегородить улицу заграждениями и направить особо отчаянных головорезов в предместья.

Воспользовавшись моментом, я сбежал от господина Цельмейстера и отправился на поиски Ханны. Шагал как-то отрешенно. Классовая драка возле цирка ввергла меня в задумчивое состояние. Не надо быть Мессингом, чтобы догадаться, какое будущее ждало такого человека, как я, в стране, где сначала выламывают двери, потом вежливо предлагают их не закрывать.

Дверь в доме для рабочих, куда до войны я приходил заниматься немецким, открыл инвалид на костылях, в котором я сразу признал отца Ханны. На мой вопрос он ответил, что Ханна здесь больше не живет, назвал адрес и захлопнул дверь. От дальнейших расспросов я отказался. Инвалид с порога плеснул в меня таким пучком остро заточенных мыслей, что я едва успел увернуться. А может, просто смелости не хватило узнать правду? Хотя, если перебрать его мысли по одной, в них и намека не было на род деятельности, который был особенно популярен в Берлине среди молодых женщин. Его помыслами владела приводившая в отчаяние загадка: как прокормить семью? В последний перед захлопыванием двери момент меня, вслед за неразрешимым ребусом, окатили проклятьями, в которых отчетливо читались обида, зависть, ненависть к «безродному плутократу», одному из тех, кто сосет кровь из пострадавших на войне.

Не доверяя отчаянию, я направился по указанному адресу. Между тем предстартовое волнение все сильнее овладевало мной. Скоро я потерял ориентацию, ноги переставлял механически, пока не обнаружил, что очутился в сквере, в котором когда-то малолетний тщедушный Вольф Мессинг прятался от здоровяка Вайскруфта.

Здесь Вольф впал в столбнячное состояние.

Ошибается тот, кто полагает, что ясновидение – это что-то вроде дважды два четыре. Присев на скамейку, сквозь призму действительности, преломлявшую ровно беленые стволы деревьев, маленьких господ с бабочками под подбородком, матросиков, сопровождаемых потертыми нянями, – Вольф наблюдал мельтешение чуждых этой действительности лиц, перемежаемых вихрем странных нарядов, обрезанных до колен юбок, коротких стрижек, сапог с собранными гармошкой голенищами. Бесы наседали со всех сторон, хохотали в лицо, строили рожи, звали за собой, в неясность, где угадывались марширующие колонны, факельные шествия, вереницы странных дымящих машин, громадные корабли, на которые падали причудливые аэропланы. Знамена, под которыми топали бесы, были самые разнообразные – со звездами, с сельскохозяйственными орудиями, с крючковатыми крестами, а также полосатые, как матрас, с рядами мелких звездочек, с коронами и без оных. Все зримые единицы наползали одна на другую. Разобраться в подобном калейдоскопе было не под силу и десяти Мессингам. В какой из колонн искать любимую женщину? Под каким флагом? Кто во главе колонны? Почему он вытянул вперед руку? А это кто, в инвалидной коляске, торгующийся о чем-то с

мордастым, среднего роста дядькой с сигарой во рту? Где зрители? Ага, вот и они – собрались на тротуаре. Граждане вытирают слезы и изредка взмахивают платками, как бы приветствуя прокатывающиеся по брусчатой мостовой рычащие и пыхающие дымом машины. Чьи машины? Куда они движутся? Зачем люди одновременно вытирают слезы и активно машут платками? Единственно родным показалось мертвенно бледное лицо Ханни, но никому, даже самому отъявленному Мессингу, невозможно было разобрать, каким ремеслом в эти трудные дни занялась любимая женщина.

Вот еще какая сцена на прощание – мое утопление в водах странной, с низкими лесистыми берегами реки. Лихорадочно работая веслами, я попытался пересечь поток. В меня стреляют, пуля пробила борт лодки. Я оцепенело наблюдаю, как суденышко наполняется водой. Далее бред – я в воде, трепыхаюсь, меня ловит за шиворот человек с винтовкой в руке и в сапогах с голенищами, собранными гармошкой.

Затем тьма, овладение действительностью.

– Вам плохо?

Я открыл глаза. Увидел жуткую картину – ко мне склонилась напоминающая сову особа женского пола и пялилась через странного вида стеклышки, насаженные на красивую палочку. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Спасла каталепсия, в которой я пребывал.

У меня началось бурное потоотделение, женщина внезапно отшатнулась, оттащила кудрявого матросика, пытавшегося схватить меня. Матросик окончательно привел меня в чувство. Взыграла классовая гордость, не позволившая беспризорнику из Гуры Кальварии, да еще запятнанному иудейским происхождением, пасовать перед буржуазным отпрыском чистых германских кровей. Тут еще к скамейке подскочил пузатый господин с золотой цепочкой на брюхе. Цепочка напомнила о господине Цельмейстере, сумевшем за то время, что он работал со мной, в несколько раз увеличить ее толщину.

Прочь, наваждение!

– Спасибо, мадам, – ответил я. – Что-то с сердцем. Теперь мне значительно лучше.

Вежливость порой способна творить чудеса. Когда же я достал из нагрудного кармана дорогостоящий батистовый платок и вытер обильно выступивший пот, меня признали за своего и предложили помощь.

Я отказался, передохнул и бросился по указанному адресу.

Вольф застал любимую женщину дома. Она жила одна. Она не вышла замуж, она ждала меня, она хранила мне верность. И вот я явился – в добротном костюме, на плечах пелерина, волосы до плеч. Я смотрел на нее, стоявшую у окна, сложившую руки на груди, страшно исхудавшую, окончательно повзрослевшую и необъяснимо мужественную, и вдруг решил, что прямо сейчас мы отправимся в комиссариат и поженимся.

Казалось, она все поняла. Она зарыдала. Я подошел, обнял ее, напомнил, что она хорошая, добрая. Ханни, ты очень умная и стойкая.

На следующее утро Ханна потащила меня на первомайскую демонстрацию. Не знаю, то ли у меня на роду написано, то ли знаменитых людей буквально тянет оказаться в моем обществе, но в тот день я имел счастье послушать речь Тельмана, специально приехавшего в Берлин на празднование Дня солидарности трудящихся.

Он произвел на меня впечатление, но по причине малого роста его ждала нелегкая участь. Ему пришлось отстаивать свои убеждения в тюрьме. На это ушла лучшая часть жизни. Это не совсем то, о чем мечтали собравшиеся на митинг.

Я тоже.

Если кто-то упрекнет меня в равнодушии к идеалам, отсутствию жизненной позиции, желанию отсидеться в стороне, я позволю себе напомнить такому одержимому, что на демонстрации мне вручили портрет Сталина и я с достоинством нес его. Ленин достался Ханне, а Гюнтеру – красный флаг, который стоявшие рядом товарищи помогли ему засунуть в штаны. Оказалось, Гюнтер носил нательный пояс, на котором крепился особый держатель. Древко он придерживал култей, что придавало красному знамени неповторимый привкус победоносного фаллоса.

Меня представили как нового товарища, действовавшего за границей. Когда же я перевел с русского брошенную вскользь фразу, даже те, кто косо посматривал в мою сторону, приняли меня за своего. Так Мессинг связал свою жизнь с красной звездой. Что касается свастики и «идеалов», этому я посвящу особый рассказ, чтобы каждый мог убедиться, какая беда более других досаждала людям.

После митинга в цирке Буша мы стройными рядами, взяв друг друга под локти, двинулись на улицу, где нас поджидали вооруженные кастетами и ножами фрейкоровцы. Перед самым выходом, когда поступила команда сплотить ряды, Гюнтер посоветовал мне снять пиджак. В пиджаке неудобно сражаться.

– Гюнтер, – удивился я, – нам придется сражаться?

– А ты как думал! – спокойно ответил калека.

– Чем же ты будешь крушить врага?

Он показал обе короткие культи.

Дело зашло слишком далеко – мне-то сражаться было совсем не с руки. На Мессинге был хороший костюм, ему следовало беречь лицо – вообразите всемогущего мага с синяком под глазом. Я спросил Гюнтера, можно ли мне незаметно покинуть цирк. Тот сухо ответил, что здесь никого не держат, а Ханни с упреком глянула на меня и укорила за робость. Потом предложила поддержать пиджак. Она полуобняла меня и шепнула, что у нее завтра выходной.

– Дурачок. Я тебя больше не отпускаю.

Это предложение отмело всякие сомнения.

– Я тоже, – поклялся я.

* * *

В назначенный час Ханна не пришла в комиссариат, где оформлялись браки. Я приказал себе иметь терпение, ждать и даже не пытаться выяснить, где сейчас находится невеста, хотя здесь и выяснять нечего – невесты в Берлине не было.

Она появилась через несколько дней, вызвала меня в гостиничный бар и сообщила, что в ближайшие дни будет занята, и вообще, нам пока лучше не думать о браке. Ханни была на грани нервного срыва, так что мне пришлось проводить ее в свой номер и заняться целительством. Это у меня неплохо получается – я умею быстро снимать головную и зубную боль, но здесь был другой, более тяжелый случай – исполнение долга. Обострения при этой болезни порой приводят к таким расстройством, что неучу, аполитично рассуждающему обывателю или классовому врагу лучше не браться за лечение, иначе результаты могут оказаться самые непредсказуемые.

После проведенного сеанса гипноза (я вообще доверяю целительному сну) Ханна по первому вопросу, значившемуся в повестке дня, довела до моего сведения, что прийти в комиссариат не смогла по причине срочного задания, которое поручила ей партия, но об этом мне лучше не знать, а по второму, уже в постели, сообщила, что в такой решающий момент она не вправе распоряжаться собственной жизнью.

– Сейчас не время думать о личном, – добавила она.

– Ты желаешь сделать меня несчастным? – спросил я.

Она заплакала.

– С тобой трудно. Я чувствую, ты наш и не наш.

– Ханни, таковы все люди. Они чьи-то и не чьи-то, и иных людей не бывает, разве что в измышлениях реакционных идеологов и борцов за правое дело.

– Ах, это все буржуазная демагогия, – воскликнула любимая женщина.

У нас намечалась неплохая дискуссия...

Здесь я вынужден одернуть автора и обратить внимание читателя на его неумную фантазию, тяготеющую к сарказму, похабщине и скоропалительному решению труднейших вопросов, якобы донимавших меня в те незабвенные годы. Все это допустимо на каком-то ином материале, но никак не в метабиографических романах. Ведь того, кто взирает с высоты облака, не обманешь сознательным заволакиванием темы постельными сценами.

Между нами, нередко я не отказывал себе в удовольствии подшутить над доставшимся мне писакой. Однажды, когда он до смерти надоел мне расспросами, каким образом Вольф Мессинг угадывает мысли, я обмолвился о том, что легче всего проникать в чужие мысли, вдыхая табачный дым. Соавтор опешил: как же это возможно с научной точки зрения? Я без тени улыбки объяснил, что, как известно, дым в момент вдыхания и выдыхания проходит через голову и, естественно, насыщается всем, что хранится в голове. Этот убийственный довод произвел на моего соавтора ошеломляющее впечатление. Ему все стало ясно.

Скажите, разве глупость не является разновидностью самых диких предрассудков? И что можно объяснить человеку, зараженному этой болезнью?

М-да, были постельные сцены, был Берлин, была гостиница, были матросы, знамя, напоминающее пролетарский член, но была любовь. Пусть между нами не было согласия по самому существенному, или самому пустяковому – кто разберет? – вопросу, регистрироваться или не регистрироваться, но между нами было много любви и согласия.

В таком случае, что такое согласие?

Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь его мысленно, чтобы ясно рассказать об этом?

Когда мы рассуждаем о согласии, мы, конечно, понимаем, что это такое, и когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое согласие; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю. По какому-то конкретному вопросу я могу сказать – «мы договорились», «мы сошлись на том-то и том-то», но стоит только спросить – ты уверен, что все вопросы уже решены? – я умолкаю.

Что касается Ханны, дело было значительно проще.

После краткой, но решительной отповеди колеблющемуся мелкобуржуазному спецу она призналась, что ездила в Мюнхен, куда отвезла партийные документы. Моя Ханна – моя здравомыслящая, приземленная Ханни! – похвалилась тем, что у нее неплохо получается роль секретного курьера. Она выглядит как настоящая буржуазная дама.

– Только никому об этом ни слова! – спохватилась она.

Этим предупреждением она вконец добила меня. Я вспомнил вежливых пьяных матросов в Гамбурге и ужаснулся.

– Как ты могла?

– Я – член партии!

– Я не о том. Как ты могла не предупредить меня?! Если бы с тобой что-нибудь случилось?

– Ничего со мной не случится, – она улыбнулась. – Я же чувствую, ты заботаешься обо мне.

– Да, конечно, – смутился я. – Но все-таки ты женщина. Мало ли...

– Меня охранял Гюнтер.

– Хорош охранник! Без рук!

– Ты не знаешь Гюнтера. Те, кто охотятся за нами, тоже не знают. Кроме разве что твоего дружка.

– Какого дружка?

– Вилли Вайскруфта. Я встретила его в Мюнхене. Случайно, после выполнения задания, когда я передала документы и мне уже ничего не грозило. Он

поинтересовался, что я делаю в Мюнхене. Я ответила, что у меня здесь тетка. Она просила сшить ей платье.

– Это правда?

– Насчет тетки?

– Да.

Я перевел дух. Прикинул: Вилли обладает данными ясновидца и откровенную ложь улавливает сразу.

– Послушай, Ханни. В следующий раз ты обязательно предупредишь меня. Я, к сожалению, не могу сопровождать тебя, у меня выступления и я не умею обращаться с оружием, но помочь тебе я постараюсь.

Она задумалась.

– Я должна сообщить об этом Тони. Он доложит наверх.

– Никому сообщать не надо.

Ханни взгромоздилась на меня, овладела мною. Такого рода агитация пришлась мне по вкусу.

– Послушайте, товарищ Мессинг! У те-бя нет-т-т ни-как-к-ко-го по-ня-ти-я о то-м-м-м, что су-щест-ву-ет па-ртий-на-я ди-сци-пли-на.

– Мне-е-е-е пле-ва-ть-ть. Ох-х-х, к-а-к же-е-е мне хо-чет-ся на-пле-вать-ть-ть на па-ртий-ную-ю ди-сци-пли-ну.

– Ты-ы-ы не сме-ешь т-а-к го-во-рить-ть-ть. Па-ар-тия на-а-а-ш ру-ле-вой.

– То-гда я не отпу-щу те-бя в сле-дую-ущую поездку.

Она перешла с любовного языка на человеческий и строго предупредила:

– Не смей даже заикаться об этом. Я знаю, ты способен кому угодно за-пуд-рить-ть мо-о-о-О-О-О-О-О-О-зги У фрау есть цель, она добьется цели. Так и знай. Так и знай, так и знай, так и ЗНА-А-А-АЙ!

В конце собрания в качестве резолюции я предупредил:

– Если ты не слушаешься меня, Вольф внушит тебе такую забывчивость, что ты не то что маршрут, забудешь, куда сунула документы. Это первое. Второе – я тебе запрещаю перевозить деньги, ведь вы возите деньги?

– Да... но этим занимается Гюнтер.

Двоюродный брат, к которому Ханни обратилась за помощью, без проволочек разрешил наш спор.

– Если товарищ Вольф желает помочь нашему делу, не будем ему запрещать. Всю ответственность я беру на себя.

Так я принял участие в революционной борьбе.

Трудные были времена! Центробежно-стремительные! Днем, невзирая на упреки господина Цельмейстера, что на сцене я стал проявлять меньше усердия (это было неправдой) и позволяю себе иметь какие-то делишки на стороне (что было правдой), – я прикидывал самый безопасный маршрут, по которому должна была отправиться Ханни. Вечером, выступая в Винтергартене, пробегая в поисках спрятанных вещей среди изысканно сервированных, как до войны, столиков, в компании солидных буржуа, биржевых спекулянтов, боссов процветающей киноиндустрии, кинозвезд, точнее, дам определенного сорта, – я на расстоянии следил за ней, время от времени предлагал сменить маршрут или дождаться следующего поезда. Удивительно, но в Германии, даже в разгар ноябрьских боев восемнадцатого года, поезда ходили по расписанию. Только в этой стране, между Гамбургом и Мюнхеном, могло состояться то, что некоторые называют социализмом. Анархистам в Германии делать было нечего. Здесь даже самый отъявленный юдофоб никогда бы не посмел выказать свое презрение евреям, пока не поступит распоряжения сверху, неважно, от кого оно могло исходить – от президента, председателя, генерального секретаря, канцлера, фюрера, банфюрера, штурмфюрера, штандартенфюрера.

Но если распоряжение поступало, тогда держитесь, плутократы!

В свободное от выступлений время, обычно днем, я не мог отделаться от сомнений в собственном здравомыслии и страхов за Ханни. Я постоянно строил планы, как бы увлечь ее подальше, например, в Польшу, получившую к тому времени независимость. Там я мог получить гражданство, там можно было избавиться от господина Цельмейстера, там мы могли оформить наши отношения – или не оформлять их! – но уж никак не в угоду какой-нибудь партии, даже самой коммунистической! Там можно было заняться образованием – Виленский университет славился своим преподавательским составом, в котором преобладали сбежавшие из России профессора. Получив диплом, я мог бы заняться лечебной практикой, у меня отбоя не было бы от клиентов. Никто не смог бы запретить мне выступать с сеансами психологических опытов. Если для этого надо было уехать в Америку, мы уехали бы туда.

Разве это плохо? Разве там мы не могли принять участие в борьбе за установление справедливости, ведь к тому времени у меня сложилось твердое убеждение, что установление справедливости – это исключительно дело человеческих рук, или голов, как кому угодно, – но уж никак не обязанность Господа Бога. Создатель дал нам возможность решить эту проблему самим, так что давайте решать!

Однако вечером, появляясь на публике, во мне давала себя знать густопсовая, местечковая, еврейско-пролетарская закваска. Привитое в детстве кацбанство еще крепко бурлило во мне. Имели место и воспоминания о разочаровании отца, которого однажды «кинули» местные спекулянты, и несчастный отец Ханни. Мало ли упреков мог я бросить в лицо жирным!

Если бы позволял контракт, я бы спел им:

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем.

Мировой пожар горит,

Буржуазия дрожит!

Или так:

Мы пойдем к буржуям в гости,

Поломаем им все кости!

Мировой пожар горит,

Буржуазия дрожит!

Глава 4

Прошла весна, наступило лето. Жизнь наша, дерганая, нелепая, обрела какую-то последовательность, оформилась в распорядок.

Теперь с высоты четырнадцатэтажного дома если что-то и можно назвать подлинным, ангельской белизны счастьем, так это июньские дни двадцать первого, наши встречи, на которые после выполненного задания, как на явку, проверяя, нет ли слезки, являлась Ханни. Нашу духовную близость очень дополняла физическая. Или наоборот, я сейчас не помню. В такие мгновения мы были близки в самом библейском смысле, как две половинки единого целого, о чем так поэтично рассказал Создатель в своей широко известной книге, названной запросто – «Книга». Там есть глава о царе Соломоне и Суламифи.

Кто не читал, поинтересуйтесь.

Любопытно.

Всемогущий был прав, все были правы, Ханна, восседающая на мне, была права, я, возлежащий на ней, был прав. Прав был Гюнтер Шуббель и его босс Тельман. Прав был всякий, кому хватало времени заниматься любовью и бороться за справедливость. Прав был тот, кто уверовал в согласие и не замыкался в тисках «крови», «нации», «свободного рынка», «класса», «капитала», кто не отдавал всего себя борьбе за «права человека». Прав всякий, кого даже мировая революция не смогла оторвать от любимого тела.

Это факт, и с ним необходимо считаться.

Неправы были те, кто завидовал, кому не терпелось найти врага, кто уверовал в один-единственный рецепт на все времена, кто, отыскав его, кричал «эврика!», кто терзался от одной только мысли о близости с любимой женщиной, кто собственную немощь в этом святом деле сваливал на большевиков, плутократов, на арабов, лицом напоминавших «лакированных обезьян», на славянских недочеловеков, на развратных лягушатников.

У таких людей нет будущего – это говорю я, Вольф Мессинг.

Во время выступлений, весь погруженный в поиски спрятанных предметов, я издали приглядывал за Ханной. Опасность я ощущал внезапно, покалыванием в пальцах.

Смутно нарисовалась какая-то маленькая станция, через которую должна была проследовать Ханна. С какой стороны ей грозила беда, от кого она исходила, кто к ней подбирается – гнусный маньяк или грабитель, будет ли у него эмблема какой-нибудь добровольческой банды или красная звезда на фуражке, – уловить не мог, только эту зловредную струю, истекающую из какой-то ментальной подворотни, я ощущал остро.

Затем, во время аплодисментов, мне привиделась ватага фрейкоровцев, шастающих по вагонам и целенаправленно кого-то выискивающих. Во время поклона обнаружил: бандиты ищут женщину-связную. Откуда выплыла эта мысль, сказать не берусь – родилась и все тут. Я помчался в гримерную, там закрылся. Гостям, рвавшимися ко мне с визитами и поздравлениями, было сообщено, что я плохо себя чувствую, что я перенапрягся...

Устроившись на диване, вместо потолка смутно разглядел Ханну, беременную, на последнем месяце. Пояс на животике был доверху набит какими-то резолюциями, решениями, постановлениями; черт их разберет, что они понапихали Ханне в животик! Меня прошиб ужас, какой я испытал только однажды, когда безбилетником добирался до Берлина. В следующее мгновение, силой своей мысли, подал Ханне сигнал об опасности. Она не услышала меня – глядя в вагонное окно, мечтала о чем-то заветном (о чем, не различил). Следующий ментальный оклик она тоже пропустила мимо ушей. Между тем поезд подбирался к станции, где возле водонапорной вышки толпились с пяток одетых в солдатское фрейкоровцев. Курили... Наконец один из них, по-видимому, старший, отдал приказ, добровольцы затоптали окурки и двинулись в подходящему составу. Я мысленно крикнул изо всех сил: «берегись!»

Ханна даже не шевельнулась.

Фрейкоровцы вошли в первый со стороны паровоза вагон, двинулись по коридору. Особенно внимательно они присматривались к молодым беременным женщинам.

Внезапно Ханна вскинула голову и, совсем как птичка, дернула головкой, глянула направо-налево, затем торопливо поднялась, вышла из купе и, поколебавшись, направилась к противоположному выходу. Все эти мгновения я с нараставшим ужасом наблюдал за ней. Она опередила охотившихся за ней фрейкоровцев на какую-то долю секунды. Когда добровольцы вошли в вагон, она закрыла дверь в тамбур. Когда же Ханне удалось незамеченной спуститься на перрон и скрыться в толпе, я испытывал настолько могучий оргазм, что вынужден был переодеться.

Вообразите мое удивление, когда вернувшаяся из поездки Ханна уверила меня, что никаких таинственных голосов она не слышала, никакие предупреждающие оклики не долетали до нее, просто она замечталась, вспомнила обо мне, о том, какой я глупый, что боюсь за нее.

Эта тайна до сих пор смущает меня. Уверен, Ханни говорила искренно. Как медиуму ей было далеко до Лоры. Если она не слышала мои предупреждения, какая сила подвигла ее внезапно покинуть вагон?

Хороший вопрос для Мессинга, не правда ли?

В любом случае, когда я признался в постыдном грехе семяизвержения, она смеялась так, как может смеяться молодая здоровая женщина, которой удалось хоть в чем-то посрамить любимого мужчину.

Она смеялась беззаботно! Разве этот смех не есть повод для самого тщательного психологического расследования?

Или вот еще анекдотический случай.

Все началось с неожиданной встречи с Вилли Вайскруфтом. Мы столкнулись на Фридрихштрассе возле моего отеля, что неподалеку от вокзала. Вилли первым

окликнул меня.

– Вольфи? Ты ли это?..

Я не сразу узнал его.

Вайскруфт выглядел отъявленным босяком: армейская бескозырка, студенческий форменный, выдавший виды сюртук. Заношенные до заплат солдатские штаны, не первой старости сапоги. На рукаве пиджака – череп оленя в перекрестье лучей, красно-бело-черный шеврон углом вниз и буква «R». Эта знакомая мне по наблюдениям за Ханной эмблема откровенно смутила меня.

Перехватив мой взгляд, Вилли усмехнулся.

– Пришлось записаться. Жить-то надо. Россбах платит по пять марок за каждую акцию. Лупим левых...

Затем Вилли признался, что не прочь чего-нибудь отведать. Сегодня ему было как-то недосуг заняться вторым завтраком. Я предложил зайти в ближайшую бирштубе (пивную).

Заведение оказалось приличным, кельнер шустрым. Подбежав, шепнул: «Есть баварское!..» Я поспешил заказать пиво, омлет, сосиски. Угостил Вилли сигаретой.

В компании с важным господином в добротной кожаной куртке, щегольской шляпе Вилли чувствовал себя неловко, однако, напомнив мне о нашей первой встрече – зря я не отдубасил тебя на вокзале, – он повел себя свободнее. Нам было о чем поговорить. Скоро потертая армейская бескозырка одного и по-аргентински экзотичная, с низкой тульей и широкими полями шляпа другого перестали иметь значение. Вилли признался, что сидит на мели. Недоучившийся студент никому не нужен, а пребывание в революционной России и знание русского некоторые из его «камарадов» расценивают как отметину красных.

– Вот и верчусь.

– Как отец?

– Давно не видал и вряд ли когда увижу. Он едва не разорился, однако сумел вовремя спихнуть своих уродов какому-то провинциалу из Данцига и сбежал в Южную Америку.

Вилли вздохнул.

– В Аргентине, говорят, тишина и порядок. Жрут от пуза.

– Что же ты не поехал с отцом?

Вайскруфт усмехнулся.

– Отец!.. Он выгнал меня, а в Америке меня никто не ждет. Здесь какая-никакая, а работа, и, должен признаться, наметились перспективы... Вот тебя встретил. К тому же я какой-никакой, а все-таки немец и не хочу забывать об этом, а Аргентина... Это прекрасная страна, только там слишком много коров.

Он неожиданно оживился:

– Что касается уродов, после Данцига они вернулись в Берлин и осели где-то в предместье. Ездят по провинции, дают представления. Поют куплеты насчет какой-то Марлен, которая всегда держит юбчонку поверх колен. Или пупка, точно не помню. Они еще танцуют. Вообрази, Бэлла трясет гривой, Марта бородой – цирк, одним словом. Революционерам нравится, мать их так... – последние слова он выговорил по-русски. – Вот сиамским сестрицам не повезло – говорят, какая-то красная сволочь зарезала их в борделе.

– Ты не любишь красных?

– А за что мне их любить? За то, что мутят воду и того и гляди накинута на шею немцам большевистскую удавку? Я как-то встретил Шуббеля, помнишь такого? Он играл на аккордеоне ногами.

Я молча кивнул.

Вилли с намеком глянул на меня и спросил.

– Говорят, он вроде прибил к коммунакам? Ты не слышал?

Я неопределенно пожал плечами.

– Видно, мечтает, чтобы ему еще и ноги оторвали, – засмеялся Вилли.

Я промолчал.

– Ханну помнишь, его сестричку?

Я кивнул.

– Встретил ее в Мюнхене, тоже какая-то красная сволочь.

Он внезапно замолчал. Съел омлет, сосиски, допил пиво. Мне стало ясно, пора прощаться. Все, что в ту пору обычно выяснял каждый немец, встретивший довоенного друга, мы с ним выяснили.

Вилли, однако, прощаться не собирался.

– Что касается Ханны, эта тощая пролетарка не утратила дар человеколюбия. Ссудила меня на поездку в Берлин. Надо бы отдать, да нечем, так что закажи еще пиво.

После того, как кельнер поставил кружки, Вилли обратился ко мне.

– Ты, верно, думаешь, что я свихнулся на поражении и на ненависти к плутократам? Это не так, Вольфи. Мне все равно, какого цвета сволочью быть, лишь бы платили.

– Если хочешь, я могу помочь тебе со средствами, – предложил я.

Вилли отпил пиво, откинулся на спинку кресла и презрительно усмехнулся.

– Нет, Вольфи. Я пока с голода недохну...

Он неожиданно перешел на русский.

– И до милостыни не докатился. Вот миллион я бы взял.

– У меня нет миллиона. Разве что марок.

– Кому теперь нужны марки. В цене доллары. Ты не отчаивайся, у тебя скоро будет миллион. Я видал тебя в «Винтергартене». Знакомая дама пригласила. Высший класс, Вольфи. Это говорю тебе я, Вилли Вайскруфт, сын владельца развлекательного и, учти, когда-то не последнего в Берлине заведения. Это говорю я, неудачливый солдат, угодивший в пятнадцатом году в плен и познавший Россию. Ты не поверишь, но мне посчастливилось видеть Распутина. Я сразу почувствовал, у него есть сила, но ему далеко до тебя, дружище. Этот славянский недоносок жрал, пил, махался с женщинами, одним словом, тратил свою силу на что угодно, только не на полезное дело.

– Что ты считаешь полезным делом? Повисеть на дереве Игдрасиль? Овладеть тайной рун?

– Ты запомнил? Это радует. А почему бы и нет, Вольфи. Ты можешь относиться ко мне, как к сумасшедшему, но в следующей войне многое будут определять такие, как ты.

– Тебе мало одной войны?

– Войны не может быть мало или много. Она перманентна, как и революция, которая в каком-то смысле тоже война. По крайней мере, так утверждает товарищ Троцкий.

Он вновь замолчал. У Вилли появилась странная манера обрывать разговор на полуслове, можно даже сказать, на полумысли.

Вайскруфт неожиданно засмеялся.

– Ты знаешь, мне удалось сделать на тебе неплохой гешефт.

Далее по-немецки:

– Ja, ja, nat?rlich. Я предложил пари, что ты умеешь предсказывать будущее.

Теперь я пожал плечами. Мой кислый вид никак не смутил заметно повеселевшего Вилли.

– Возможно, ты помнишь, как на одном из твоих выступлений в Винтергартене какой-то усатый прощелыга потребовал от тебя ответ, на чем ему надежнее добраться до Мюнхена. На поезде или на машине?

– У него усики вот так? – я провел пальцами две черты под ноздрями.

– Точно. Ты подсказал, что лучше отправиться на машине.

– Да-да, что-то припоминаю.

– Ты не читаешь газеты? – удивился Вилли.

– Вообще-то нет. Они пачкают руки.

– А «Роте Фане»?

Я промолчал, а Вилли как ни в чем не бывало продолжил:

– Даже в этой паршивой газетенке написали, что шестнадцатичасовой поезд на Мюнхен сошел с рельс возле Регенсбурга. Есть погибшие. Я показал эту заметку своему дружку, и он с ходу выложил проигрыш. Так что если не хлопать ушами, прожить можно. А то, что я вырядился так непрезентабельно, так это маскировка. Тут подвернулось неплохое дельце – проследить за одной красной сволочью, да вот встретил тебя. Так что сволочь подождет.

Он погрустнел, а я задался вопросом – кто мог быть этой красной сволочью? Уж не Вольф ли Мессинг? Мне стало не по себе. Я мысленно прислушался к Вайскруфту, однако выудить что-то более ценное, чем надоедливый мотивчик какого-то брутального фокстрота, мне не удалось. Эта мелодия настолько прочно засела в мозгах Вайскруфта, что я удивился, каким образом он ухитряется одновременно беседовать со мной.

– Мы давно не виделись, Вольфи, – погрустнел Вилли.

– Считай, семь лет, – подтвердил я.

Вилли вновь перешел на русский язык.

– Нам есть о чем поговорить. Например, мы могли бы работать в паре. Подумай, нельзя ли ввести в твой номер некий элемент случайности? Ты ищешь предметы, но один предмет найти не можешь. Я принимал бы ставки...

Я ответил ему по-немецки:

– Нет, Вилли, смысл моего выступления в том, что я нахожу все предметы. До единого! Мне нельзя ошибиться, это условие контракта. К тому же я и не могу, потому что вижу их.

– Предметы?

– Да.

– Верю, – он попросил заказать еще пива. – За мной не пропадет. Вилли Вайскруфт всегда оплачивает счета. Тогда, возможно, тебя заинтересует информация, которой я владею. Твои дружки могут выложить за нее кругленькую сумму.

– Кого ты имеешь в виду под моими дружками?

– Шуббеля, дружище!

Фокстрот в его голове зазвучал на пределе слышимости. Он даже начал выстукивать пальцами забористый ритм, а у меня начался ступор – я никак не мог припомнить название этой разухабистой танцушки.

– Какое тебе дело до Шуббеля, до моих дружков и до меня?

– Хороший вопрос, – кивнул Вилли и помрачнел. – Деловой. Это выдает в тебе, Вольфи, ищущую, пытливую душу. (Накал изводившего меня шлагера резко спал.) Полагаю, ты тоже не обходишь корысть стороной. Не обижайся, но иногда я приглядываю за тобой. Это для твоей же пользы, Вольфи. Неужели ты всерьез полагаешь, что в этом мире можно прожить, и хорошо прожить, без помощи влиятельных друзей?

– Ты имеешь в виду господина Цельмейстера?

Вилли, совсем как его отец, презрительно наморщил переносицу.

– Кто такой господин Цельмейстер? Плутokrat из самых ничтожных. Использовать такое чудо, как Вольф Мессинг, для того, что сытно жрать и спать со шлюхами, способен только мелкий мошенник.

– А крупный?

– Вот к тому я веду. Ты, кажется, упоминал о влиятельных друзьях? Они не привыкли швырять пфенниги попусту. Они платят за товар, за результат, за преимущество, а какой товар в грядущую эпоху будет в особой цене? Такие, как ты, Вольфи.

– Почему ты решил, что я могу связаться с Шуббелем?

– Потому что спишь с его сестрой.

– Ты и это знаешь.

– Ненароком, Вольфи. Случайно встретил вас возле «Континенталя». Ханна – замечательная девушка здоровых народных кровей. Ты знаешь, я тоже заглядывался на нее. Но не сложилось...

– Зачем тебе иметь дело с красными, если у тебя на рукаве эта эмблема?

– А если красные победят, Вольфи? Поверь, я знаю, о чем говорю. Я видал этих... – он перешел на русский, – очумелых. Разгром на Висле ничего не значит, дружище. Просто война перешла в новую фазу, и на этот раз я не хочу оказаться

в числе побежденных. Я хочу жить на широкую ногу, ездить по миру, носить такую же куртку, как ты, такой же фрак, в котором ты выступаешь в Винтергартене. Почему это можно какому-то еврейскому мальчишке и недоступно мне, Вилли Вайскруфту?

Увидев, что я нахмурился, он поморщился.

– Не надо обижаться, Вольфи. У вас, евреев, есть странная привычка толковать каждое слово как намек, а каждый намек как оскорбление. Мне в голову не приходило презирать тебя за происхождение. Разве что за дар... Но это воля небес, и бороться с ней – безумие. Я не скрываю, что хочу попользоваться твоим даром, погреться в лучах твоей славы. Задумайся вот над чем – в том мире, где твердят о «чистоте крови», господину с русскими корнями вряд ли позволят выбиться в люди. Скоро начнется заварушка, Вольфи, и кое-кто попытается сделать твоим красным дружкам вот так, – он чиркнул ногтем большого пальца по горлу. – Но твои дружки тоже не промах. Вот тебе мой совет, Вольф, уезжай куда подальше.

– Спасибо за совет.

Он допил пиво.

– Ты стал обидчив, Вольфи. Это плохо, дружище. Поверь, я знаю, что говорю. Итак, ты передашь Шуббелю мое предложение? Если да, приходи в эту пивную в четверг. Моя цена – тысяча долларов. Если твои дружки сочтут цену завышенной, тогда Auf Wiedersehen!

* * *

Признаюсь, предложение Вилли Вайскруфта ошеломило меня. Оказалось, что всякого рода «идеалы», сплоченные в ряды «измов», железные батальоны лозунгов, призывающих свернуть башку «реакционерам» и построить «наш, новый мир»; вопли, требующие «пустить кровь плутократам, вонзившим нож в спину Германии», – тоже имеют цену. В изложении Вилли спасение отчизны, классовая борьба, а также социальная, национальная и всякие другие революции приобретали какой-то неожиданный криминально-базарный привкус, тем не менее я счел своим долгом рассказать о нашей встрече Шуббелю.

О чем они совещались в своем комитете, не знаю, только на следующий день Гюнтер предложил мне встретиться с Вилли.

– Передай Вайскруфту, что я жду его в Моабите, в пивной «У тетушки Хелены». Ни в какие объяснения не вступай. – После короткой паузы Гюнтер как бы нехотя поинтересовался: – Ты сам как считаешь – это провокация или серьезный разговор?

Я сразу догадался, что он имел в виду, однако что я мог ответить? Станцевать привязавшийся ко мне фокстрот, отстучать ритм ладонями по столу? Черт возьми, я так и не вспомнил название этой прилипчивой мелодии! В памяти возникло что-то вроде ментального барьера, с которым мне еще не приходилось сталкиваться. Это мешало мне, требовало разгадки. Вот какая мысль пришла мне в голову – может, старый дружище таким странным образом выстраивал самозащиту? Или с помощью этого прилипчивого мотивчика он надеялся подчинить меня, оседлать и помчаться в сторону неведомой мне цели? Неслыханная самонадеянность, и все же – что имел в виду Вилли, рассуждая о том, что мы могли бы отлично работать в паре? Интерес донимал меня. Я упросил Гюнтера, чтобы тот позволил мне присутствовать при разговоре.

Гюнтер предупредил:

– Ты берешь на себя большую ответственность, товарищ.

Мы встретились с Вайскруфтом на пересечении Фридрихштрассе с Унтер-ден-Линден. На этот раз он явился одетым вполне в духе Рот Фронта – в гимнастерке, но без красной звезды на фуражке. Армейские штаны заправлены в сапоги. Когда я передал ему предложение Гюнтера, Вайскруфт на мгновение испытал страх, затем взял себя в руки и коротко кивнул. О гарантиях даже не заикнулся.

Вилли настоял шагать порознь. Как он выразился, в «целях собственной безопасности». Я уточнил:

– Твоей?

– Нет, Вольфи, твоей.

– Мне бояться нечего, – по-русски ответил я. – Мне ничто не грозит.

– Пока, – уточнил Вилли. – И я не хотел бы, чтобы это «пока» скоро закончилось.

Мне было трудно понять, чего они оба – Вилли и Гюнтер – опасались. Я не состоял ни в какой партии, не примыкал ни к какому крылу, не хранил в номере отеля оружие или динамит, не посещал никакие сходки (первомайская демонстрация не в счет – пусть тот, кто не участвовал ни в какой демонстрации, первый бросит в меня камень). Я не принадлежал никому, кроме самого себя и Ханны.

– Послушай, Вилли, – настоял я. – Благодарен тебе за заботу, но я как-нибудь сам позабочусь о себе. Твоя озабоченность вызывает у меня подозрения, не ведешь ли ты двойную игру?

– Конечно, веду, но об этом после. Сначала Шуббель, потом исповедь. Ты – слишком ценный экземпляр, Вольфи, чтобы так запросто уступить тебя врагам Германии. Говорят, ты способен читать чужие мысли? Это правда? Когда меня убеждают, что расплодившиеся у нас всевозможные чародеи и провидцы вроде Белого мага умеют улавливать мысли других, я только смеюсь в ответ, но к тебе я всегда относился всерьез. Мы обязательно встретимся и поплачемся друг другу в жилетки. Евреи и русские очень любят жаловаться на жизнь, особенно под рюмку водки. По себе знаю. Иди первым.

После такого напутствия я не мог отделаться от мысли, что того и гляди из-за какого-нибудь угла на меня набросится белогвардейский террорист, однако погода была теплая, ветреная, как всегда бывает в Берлине в июне, и до тетушкиной пивной я добрался без всяких приключений. Мы устроились в дальнем углу. Вилли сел отдельно от меня – расположился спиной к стене, не без опаски огляделся. Я смог уловить его возбужденное смятение – ведь он рискнул посетить одно из самых опасных гнезд, в которых собирались красные осы.

Через несколько минут к нему подсел Гюнтер. О чем они беседовали, я улавливал с трудом, и, если откровенно, их разговор был мне неинтересен. Что-то о добрых старых временах, когда у каждого, даже самого безрукого инвалида и хозяйского сыночка, хватало на хлеб, порцию копченой свиной рульки с капустой и кружку пива. Мельком вспомнили сиамских близняшек, далее

начался деловой разговор. Разговаривали вполголоса, при этом Гюнтер и Вилли немерено пили пиво. В этом сторонник Рот Фронта и доброволец из штурмового отряда Россбаха мало чем отличались друг от друга. И красные, и белые, вербуя сторонников, прибегали к одному и тому же нехитрому приему. После объявления политических лозунгов, целей и первоочередных задач движения вожди призывали соратников «постучать кружками», для чего существовали особые заведения. И белые, и красные, захватив власть в том или ином населенном пункте, первым делом раздавали своим приверженцам талоны на бесплатное пиво. Помню, в Варшаве я задался вопросом, почему выступление коричневых в Мюнхене в 1923 году окрестили «пивным путчем». Позже выяснилось, что в назначенной вождям пивной штурмовикам отказали в дармовом пиве, и они просто-напросто отправились в другую пивную, по пути сметая местные власти и попадавших на улицах полицейских. Власти были вынуждены открыть стрельбу. Восемь человек погибли. Их объявили мучениками во имя «великой идеи германской нации».

Но вернемся к Вилли и Гюнтеру. Пока я боролся со второй кружкой, конверт с тысячью долларов успел переместиться из кармана Гюнтера в карман Вилли. Я обратил внимание, какая крупная и костистая рука у Вилли, как странно расположились на ней бугорки и кровеносные прожилки. Когда же он показал ладонь, я обнаружил, что его ждет долгая жизнь и мучительная кончина.

Вайскруфт ушел первым, потом мы с Гюнтером. В прихожей Шуббель предупредил меня:

– Будь осторожен, этот наци что-то темнит.

Так я впервые услышал это поганое слово, хотя в ту пору в него вкладывали совсем иной смысл, чем тот, к которому мы привыкли сегодня. Шуббель имел в виду националистов, но даже в таком прочтении это слово резануло меня какой-то тупой, беспредельной безжалостностью. Мне было трудно поверить, что в таком коротком слове может уместиться чудовищная бездна.

На улице я поинтересовался:

– Что сказал Вайскруфт?

– Зачем тебе знать? Меньше знаешь, крепче спишь. – Гюнтер сделал паузу, затем признался: – Тревожусь за Ханну. Она засветилась. Живет одна. Мало ли...

Он даже не глянул в мою сторону. Я решил ответить на доверие героическим поступком.

– Устрою ее в гостинице. Пусть господин Цельмейстер немного позлится. Поселю в своем номере.

– Это будет лучшее решение, товарищ, – Гюнтер протянул мне правый обрубок, и я аккуратно и нежно пожал его.

– До свидания, товарищ.

Он повернулся и ушел. Я же, остолбенелый, еще пару минут стоял у входа в заведение. Гюнтер никогда и никому не протягивал то, что осталось у него от рук. Всякое прикосновение к его искалеченным конечностям он воспринимал как чудовищное оскорбление. У меня родилась благодарность, капелька этой благодарности до сих пор живет в моем сердце, даже в сердце того Вольфа, который обитает на высоте четырнадцатого этажа и теперь представляет собой незримую глазу конструкцию.

Тайну Вайскруфта мне открыла Ханни. Когда спустя неделю после начала нашей совместной жизни она известила меня, что ей необходимо еще раз навестить тетю, но теперь уже в Эйслебене, я предупредил – больше никаких тетей, никаких документов, никаких экспедиций, иначе я так загипнотизирую тебя, что ты забудешь, как тебя звать, кто твои родители и за дело какого класса ты готова принести в жертву свою молодую жизнь. Приведу в чувство только где-нибудь в Африке или в Америке, в прериях, среди индейцев.

– Это очень важно, Вольфи! – воскликнула она.

– А мне важна твоя безопасность, – отрезал я.

– Ну, Вольфи!..

– Никогда больше не называй меня этим гнусным прозвищем! Зови, как хочешь, – Воли, Вали, Вольфик, Гульфик, только не Вольфи!

– Какой ты капризный, товарищ!

– Я тебе не товарищ, а друг, ну и все прочее. Не заговаривай мне зубов!

– Надо говорить, не заговаривай зубы, товарищ.

– Хорошо, буду выражаться правильно, картавя, как старорежимный граф. Итак, куда ты направляешься? Что везешь? Что сказал Вайскруфт? Кстати, он признался, что соблазнил тебя.

Ханни засмеялась.

– Соблазнил меня ты, товарищ. Ты же мучаешь меня, суешь нос не в свое дело.

– Отлично. Тогда смотри сюда.

Я достал часы на цепочке и принялся раскачивать их.

На лице Ханни нарисовался испуг. Она закрыла глаза. Ханни не выдержала, глянула на часы и с того мгновения уже не могла оторвать взгляд от циферблата.

Я начал отсчет.

Она внезапно и тихо выговорила:

– Вайскруфт предупредил, что в районном комитете партии есть предатель. Он потребовал еще одну тысячу, чтобы попытаться узнать его имя. Товарищ, это очень важное и ответственное задание. После «Мартовской акции» тетя в Эйслебене осталась совсем беззащитной. Только я могу доставить ей оружие, потому что знаю ее в лицо.

Я остановил часы и удивленно поинтересовался:

– Ты повезешь оружие? В дамской сумочке?..

– Нет, багажом.

Я в растерянности направился в спальню, там положил часы на столик и услышал из гостиной голос Ханни:

– Больше никогда так не поступай, товарищ Мессинг.

– Нет, моя хорошая. Теперь ты будешь рассказывать мне все-все.

– Все-все?

– Да, – подтвердил я.

– Даже то, что Вайскруфт пытался изнасиловать меня, а тебя не было рядом?

Я обомлел.

– Что значит пытался?

– Когда в восемнадцатом он вернулся с фронта и узнал, что я живу одна, он заявился ко мне и предупредил, что поселится у меня. За комнату будем платить пополам. Я засмеялась, а он пообещал, что явится через два дня с вещами. Я попыталась выгнать его, а он набросился на меня. Гюнтер крепко наподдал ему.

– Гюнтер?!

– Да, мой брат.

– Как же ему это удалось?

– Он как раз пришел ко мне в гости.

– Я имею в виду, чем он наподдал ему?

– Увидишь.

– Хорошо, тогда я сам поговорю с Гюнтером, потом приму решение.

– Какое?

– Узнаешь.

* * *

Шуббель выслушал меня в той же самой пивной, в которой встречался с Вайскруфтом. Он ни единым словом не укорил меня за то, что я проник в святая святых организации, просто пересказал мою историю и мои предложения подсевшему за столик товарищу Рейнхарду. Тот, по крайней мере, так назвал себя.

Товарищ Рейнхард слушал не перебивая. Ход его мыслей был подобен работе хронометра: точно, последовательно, без виляний. Быстро провел социальный анализ – из пролетариев, еврей, затем с той же четкостью добавил – это неплохо. Артист, привык купаться в лучах славы, мечтает ощутить себя героем. Затем дал мне оценку – не наш. По происхождению наш, но не наш, у нас местечковых много, со временем из них выковываются отличные товарищи, но не из этого. У этого фокусника масса буржуазной шелухи в голове.

Я глянул ему в глаза и подтвердил:

– Да, в моей голове много буржуазной шелухи. Я, например, не люблю работать без гонорара.

– Сколько же вы потребуете за свое участие?

– Ни пфеннига. Я хотел бы не участвовать, а рисковать вместе со всеми. За это деньги не берут. Даже местечковые.

– А вот тут вы не правы, товарищ Мессинг. Среди местечковых, к сожалению, попадаются такие, которые не только берут, а прямо-таки хапают. Хуже могут

быть только те, кто готов помириться с новоявленными тевтонами, особенно с теми, кто сплотился вокруг крайних реакционеров. Я вижу, товарищ Мессинг, вы плохо разбираетесь в политических вопросах. Еще не избавились от дурмана вечных истин. Вас, полагаю, следует хорошенько подковать. Не желаете поучиться?

– Где?

– Об этом после.

Глава 5

Это была веселая поездка, веселее не бывает. Ханни – администратор, Гюнтер, Бэлла, фрау Марта и ваш покорный слуга – экспонаты, собравшиеся повеселить саксонскую публику уникальными уродствами, куплетами на злободневные темы, сценками, сюжет которых строился на том, что безрукий ветеран изменял бородатой жене с женщиной-лошадью, а также психологическими опытами. После того как паноптикумы начали прогорать один за другим – в трудные годы было мало желающих полюбоваться на такого рода экзотику, – моим друзьям пришлось «оживить» программу.

Перед отъездом я был резок с господином Цельмейстером. Я потребовал отпуск.

Цельмейстер предупредил:

– Если вы собираетесь выступать на стороне, я добьюсь по суду возмещения ущерба.

– Повторяю еще раз, платных выступлений не будет. Я намерен потренироваться. Нам пора обновить программу. Кроме того, я собираюсь развлечь своих друзей психологическими опытами и заодно отдохнуть. Разве это возбраняется?

– Куда вы отправляетесь?

– В Гамбург.

Так, мелко солгав, я спустил на нашу дружную компанию орду бесов, или, может, бесы давным-давно обложили меня, и поездка в Саксонию показалась им прекрасной возможностью свести со мной счеты. Бесы готовились покуситься со мной за разборчивость в средствах, за отказ вместо предметов улавливать души, за нежелание объявить себя мессией, спасителем, провидцем, воскресителем мертвых, гуру, знатоком темной стороны мира.

Они жестоко отомстили мне. Отомстили руками ублюдков, схвативших нас в захудалом саксонском городишке, где тетя должна была принять груз, доставленный под видом реквизита.

В марте 1921 года в западной части Саксонии, в области Мансфельд, рабочие взялись за оружие. Все началось с повальных обысков и арестов коммунистов и сочувствующих, вышедших на демонстрацию по случаю объявления всеобщей забастовки. В тот же вечер рабочие извлекли из тайных схронов оружие, впервые пущенное ими в ход еще во время Капповского мятежа. Боевые группы спартаковцев осадили в казармах Эйслебена три полицейские сотни. В соседних Зангерхаузене и Веттине тоже начались ожесточенные столкновения между коммунистическими боевиками и частями гражданского ополчения, входивших в добровольческие отряды.

Как только первые известия о вооруженных столкновениях в Мансфельдской области дошли до Лейны, там была объявлена забастовка. Отряды Красной гвардии приступили к разрушению дорог и рытью окопов. Забастовщики сформировали одиннадцать рот, имевших на вооружении бронеавтомобили и даже собственный бронепоезд, действовавший на участке железной дороги Лейна – Гроскорбет. В заводских условиях было налажено производство ручных гранат и взрывных зарядов.

25 марта против вооруженных повстанцев были брошены добровольческие части. К концу марта завершилось окружение заводов Лейны частями полиции и фрейкоров, и на следующий день добровольческие корпуса перешли в наступление. С обеих сторон в ход пошли винтовки, пулеметы, минометы, гранаты, артиллерия, бронеавтомобили и бронепоезда. Действия восставших были плохо скоординированы, к тому же избранная боевиками оборонительная тактика позволила карателям захватить инициативу. Штурм заводов Лейна, превращенных в «красную пролетарскую крепость», начался 29 марта. Под

руководством директора заводов (бывшего офицера, оказавшегося вдобавок капитаном артиллерии), с рассветом был открыт артиллерийский огонь по заводу и прилегающему к нему поселку, после чего полиция и фрейкоры перешли в наступление. Соппротивление рабочих удалось сломить только после того, как у них закончились боеприпасы.

С начала восстания и по сей день в области действовал комендантский час. В Лейпциге, на железнодорожной станции, наш багаж подвергли досмотру, однако полицейские и добровольцы из местных отрядов самообороны отнеслись к нам снисходительно и более засматривались на Бэллу, то и дело встряхивавшую гривой, и на бородатую фрау Марту. Особенно неподражаема была Марта. Ее неприличные шуточки насчет бдительности проверяющих, которым следовало более обращать внимание на «маленькие штучки», которую их жены прячут под юбками, чем на тряпки «бедных артистов», направляющихся в Эйслебен ублажать тамошнюю публику на пивном фестивале, – встречались хохотом. Я со своей стороны тоже внес посильный вклад в ослабление бдительности полицейских, проводивших обыск.

Помню первое впечатление, сразившее меня по приезде в Эйслебен, – я обнаружил, что вооруженное восстание, о котором было столько разговоров в Берлине, должно быть, выдумали неугомонные писаки или некие потусторонние силы. Городишко удивил меня вылизанной довоенной чистотой, устоявшимся за века уютом. По городу, правда, разгуливали полицейские и добровольческие патрули. Видали бы вы этих добровольцев! Исключая белую повязку на рукаве, это были самые смирные во всей Германии ополченцы. Мужчины были наряжены в длиннополые рубахи с опереточными разноцветными платками, подвязанными под подбородком, на женщинах красовались отделанные кружевами передники. Эйслебен до боли напомнил мне местечко, где я учился в иешиве и где местные девчонки показывали мне, иудейскому семинаристу, язык. Теперь никому в голову не пришло бы показать мне язык или запустить камнем, теперь я был «господин артист», расхаживал в солидной кожаной куртке, щегольской, аргентинского покроя шляпе, снисходительно демонстрировал потрясающие возможности человеческой психики, без познания которой невозможно раскрыть «незримые и сокровенные тайны природы». Так, по крайней мере, выразился местный мэр, открывший фестиваль.

Мне, молодому тогда человеку, было интересно все, что касалось борьбы за всеобщую справедливость, однако здесь никто вроде бы и не слыхал о вооруженном восстании. Хотелось полюбоваться на следы от пуль, очень

хотелось послушать вопли истязаемых в полицейском участке заключенных. Ни того ни другого не было. Я вслушивался в мысли горожан и не мог понять, как и кому удалось поднять знамя революционной борьбы в этом уютном местечке, известном своими пивоварнями и мебельными мастерскими! Людей куда больше занимали падение марки, беспримерная наглость победителей, установивших членам репарационной комиссии оклады, которые не снились ни президенту республики, ни общегерманскому канцлеру. Здесь судачили о стремительно растущих ценах, и поверх этих вполне добротных, понятных всякому человеку мыслей поражало присущее только тевтонам некое снисходительно-вдумчивое, разумно-покорное отношение к трудностям, а также вера в сильную власть, которая в конце концов наведет порядок.

Обязательно наведет!

Не может не навести.

По улицам Эйслебена бродили коровы. Творог и другие молочные продукты оказались неслыханно дешевы, и фрау Марта, страдавшая желудочными коликами, наконец-то поела диетической пищи. Пока она лакомилась простоквашей в какой-то местной лавчонке, местные детишки с любопытством, но молча, с провинциальным туповатым достоинством рассматривали бородатую тетю через стекло витрины.

Казалось, такой образ жизни полностью исключал всякого рода взрывы страстей, тем более кровопролитие. Складывалось впечатление, что два месяца назад эйслебенцы слегка поцапались между собой. Рабочие пивоварен отколошматили нескольких зазевавшихся лавочников, однако, получив сдачи, сразу успокоились. Теперь они совместно и вполне мирно разгуливали по улицам. Что касается «красных», «белых», «черных», «зеленых» и всяких других монархистов, коммунистов, социал-демократов, националистов – о них в Эйслебене, казалось, слухом не слыхивали, как мало кто слышал о бесконечном разнообразии оттенков ящериц-хамелеонов или попугаев, проживающих на далекой Амазонке. Жителям Эйслебена не было никакого дела до расцветки, которую пытались навязать мирным людям всякого рода агитаторы. В этом мелком городишке прочно поселился некий политический нонсенс, в котором я жаждал разобраться.

Мэр Эйслебена встретил нас на главной площади возле памятника Лютеру, которому повезло родиться и умереть в этом тихом городишке. Все свои

исступленные безумства он совершал в других местах – в Виттенберге, в Вормсе, в германских княжествах, – а Эйсleben приберег напоследок, чтобы с миром покинуть этот мир. На площадь непомерно громадные битюги уже свозили не менее впечатляющие пивные бочки. Был здесь и какой-то грузовичок; водитель, сгрузив бочки, отогнал его к гостинице.

Нас устроили в гостинице. Двое сопровождавших труппу юнгфронтцев, изображавших рабочих сцены, сгрузили багаж на склад, расположенный на заднем дворе. Выступление было намечено на вечер, и до той поры у нас с Ханной была уйма свободного времени.

Я витал в облаках – и в постели с Ханни, и во время прогулки, когда мы решили обойти городишко и еще раз насладиться патриархальной тишиной и саксонским равнодушием к окружающему миру. Это было так необычно: школьники в довоенных мундирчиках, долговязый почтальон на велосипеде, столы на площади, которые устанавливали рабочие с пивоварен и механического завода. Сцену возвели напротив памятника Лютера – видно, хотели порадовать земляка разбитными куплетами, насмешками над религией и моими, отдающими запахом пекла, психологическими опытами. Тыльной частью сцена загораживала узкий проулок и прикрывала ворота, через которые во двор гостиницы мог заехать грузовик. Ханни продумала все до мелочей – когда успела? – даже школьную доску по ее требованию беспрекословно доставили из гимназии. Я любовался ею, и на сердце впервые за многие – вру, за все годы, что я знал себя, – копились блаженство и свойственный только немцам какой-то мечтательный прагматизм. Погруженный в светлую меланхолию, приучивший себя к снисходительности ко всякого рода «измам», я заранее подсчитывал, сколько у нас будет детей, каким образом я смог бы увеличить гонорар за свои выступления, как, не доводя дело до суда, безболезненно избавиться от господина Цельмейстера и передать ей себя в руки.

Это были радостные мгновения, я запомнил их на всю жизнь. Никто не знает о моей поездке в Эйсleben, пусть это путешествие останется выдумкой навязанного мне судьбой автора. Лучший актер на свете – это зло, оно любит рядиться в мир и порядок, любит подманивать длиннополыми робами и кружавчатыми передниками. Единственное спасение – дистанция, назначенная тобой, чтобы отделить себя от мира, от любого, даже самого светлого в мире учения, от верности национальной идее и любой другой идее, которая требует безоговорочного, нерассуждающего смирения. Твой палач – искренность, уверенность в верности избранного пути; держись от таких советчиков

подальше. Твой грех – «ответственность», необходимость исполнить долг; избегай ее, пусть даже самый нормальный из всех нормальных людей считает, что в этом заключается «смысл жизни». Это расстояние – твое сопротивление, а сила сопротивления – это длина промежутка. Этот зазор позволит вовремя оценить всякого рода повальные поветрия, всякий бред, ворохом сыплющийся на каждого из нас, является ли он телепатом или нет. Это утверждаю я, Вольф Мессинг, витающий на уровне четырнадцатого этажа.

И в заключение еще раз о Мессинге. Если «не нашему» Мессингу так и не суждено достаться Ханне, пусть он останется «ничьим». Пусть сохранит дистанцию. Вспоминать об этом горько, но полезно для сохранения мира во всем мире и уважения к самому себе, пусть даже и безвоздушному.

* * *

В полдень мэр торжественно выбил деревянную пробку из дубовой бочки, и пиво полилось рекой. Правда, литр был дороговат, но нам выставлялось по две кружки за счет города. Я никогда не был приверженцем этого бурлящего в желудке напитка и отдал свою порцию Гюнтеру. Сам же пригубил яблочной настойки, правда, сделал это после своего номера, к которому готовился так долго и втайне от господина Цельмейстера.

Толчком к тому, чтобы овладеть искусством бездонной памяти, послужила встреча с удивительным человеком, умевшим практически мгновенно запоминать громадные ряды цифр. Чтобы зафиксировать таблицу, в которой было пятьдесят клеток, а в каждой клетке четырехзначное число, ему требовалось минуты три. Он складывал, вычитал, умножал и делил в уме любые числа. Побывав на его выступлении в Аргентине, я испытал острую зависть к человеку, способному творить чудеса, даже мне казавшиеся недоступным.

По настоянию местного директора почты, являвшегося по совместительству председателем эйслебенского общества, занимавшегося «изучением тайн природы», мое выступление приберегли под конец, а до того жару давали Шуббель и наши дамы.

Первой, потрясая гривой, на сцену вышла Бэлла, невенчанная жена Гюнтера, и спела куплеты. Это было очень жизнерадостное зрелище, много аплодисментов. Далее скетч с участием Гюнтера. Объяснив публике, что «дорогая женушка»

где-то задерживается, он встал на руки, упакованные в специальные кожаные мешочки. Публика затаила дыхание, наблюдая, как инвалид-фронтовик (так он представился), уселся на стул лицом к зрителям и, зажав между пальцев ног ножик, начал чистить картофель. При этом Гюнтер в рифму проклинал всех подряд – победителей, репарационную комиссию, веймарских говорунов, «жирных котов» из Союза промышленников, фрейкоровцев, не знающих отдыха в поисках крамолы. Этот выпад на площади встретили свистом, и кто-то из публики громко крикнул:

– Эй, парень ты, случаем, не из красных? Их у нас здесь не любят.

– Нет, – ответил Гюнтер, – я из безруких. Умелец, каких поискать, да и по женской части я мастак. Если кто из дам желает проверить, пожалуйста.

Ворвавшаяся на сцену фрау Марта, потрясая огромной бородой и скалкой в руке, крикнула:

– Я тебе сейчас проверю, какой ты мастак, кот ты мартовский!

Из толпы донеслись крики: «Бей его, пролетария!» – что свидетельствовало о подспудной приверженности зрителей к национальным ценностям. Пока фрау Марта гонялась по сцене за неверным супругом, они били кружками о столы, кричали «Хох», затем грянули «Пивной марш».

Удачным оказался и финал этой незамысловатой пьески. Гюнтер, умоляя о помощи, воззвал к любовнице. На сцену ворвалась женщина-лошадь, чье появление публика встретила громом аплодисментов и приветственными криками.

После них пришел мой черед. Директор местной почты предварил мое выступление коротенькой лекцией о непознанных тайнах природы. Свое выступление он закончил призывом к собравшимся принять посильное участие в предстоящем научном эксперименте, который уважаемый «герр профессор» – так он представил меня – любезно согласился произвести в присутствии почтеннейшей публики. Для этого необходимо было выбрать комиссию. В комиссию вошли пять человек – сам начальник почты, уже знакомый мне почтальон, разъезжавший по Эйслебену на велосипеде, а также другие уважаемые граждане. Мне завязали глаза, и почтальон, человек восторженный,

прекрасный индуктор, желающий всеми силами проникнуть в тайны непознанного, осторожно поддерживая за локоток и указывая путь, проводил меня со сцены. На площади установилась тишина, и я мысленно вообразил, как члены комиссии, согласно условиям эксперимента, азартно рисуют на доске кружки различного диаметра.

За кулисами почтальон стыдливо признался, что зовут его Теобальд, но все окликают его Тео, что ему посчастливилось побывать на моем выступлении в Лейпциге, и он восхищен моими попытками приоткрыть дверь к тайнам непознанного. Почтальон уверил меня, что для него великая честь помочь мне в проведении эксперимента. Я слушал его вполуха, мои мысли были заняты тем, что происходило на сцене.

Любители открывать тайны мироздания потрудились на славу. Они изрисовали доску вдоль и поперек. Когда Тео помог мне подняться на сцену и снял бархатную повязку, я на мгновение повернулся к доске, затем отвернулся и произнес:

– Нарисовано четыреста двадцать восемь кружков.

Подсчет занял пять минут. Число оказалось правильным. Любители пива дружно грянули «Хох» и затянули «Trink, Bruderlein, trink!»:

Trink, trink, Bruderlein, trink!

Lass deine Sorgen zu Haus.

Maide den Kummer und maide den Schmerz

Dann ist dein Leben ein Schetz.

Затем на доске написали два шестизначных числа. Я мгновенно сложил их, поделил и умножил. На каждую операцию мне потребовалось три-четыре секунды напряженного внимания. Комиссия во главе с мэром проверила ответы на бумаге, все сошлось.

На этот раз площадь откликнулась на удивление жидкими аплодисментами. Уязвленный, я решил наплевать на запрет господина Цельмейстера и под голосистое завывание «Roslein, Roslein, Roslein rot...» исполнил свой коронный

номер. Суть его заключалась в том, чтобы кто-то из членов комиссии спрятал какую-нибудь маленькую вещицу среди зрителей. Единственное условие – не уносить ее с площади. Любители пива оживились, забыли о розочке, и я заранее начал потирать руки.

Меня вновь увели со сцены. Спустившись по ступенькам и закулив, я случайно глянул вдоль проулка – из ворот гостиницы выезжал какой-то грузовик. Я тогда мельком отметил – зачем грузовик в таком живописном месте? На задах меня продержали минут десять. Спрятать выбранную комиссией вещицу доверили почтальону, известному своей честностью и неподкупностью.

Затем начались чудеса. Вернувшись на сцену, я схватил Тео за руку и попросил напряженно думать о том, где спрятана эта таинственная штуkenция. Несколько секунд мне хватило, чтобы выбрать направление, наконец я бросился на площадь, таща за руку восхищенного моей расторопностью почтальона.

Мы торопливо помчались вдоль рядов – мысли местного почтаря были просты и безыскусны. Сначала, наверное, для того, чтобы не выдать местонахождение спрятанного предмета, они скакали с предмета на предмет – он не любил, но «уважал» евреев, особенно таких как я, «научных работников», так он мысленно выразился; то и дело пытался отвлечь себя велосипедом, которому требовалась смазка; не к месту вспомнил о какой-то тетушке Гертруде, которую слишком холодно приветствовал сегодня. Надо будет не забыть поздравить ее с днем рождения. Далее, увлеченный экспериментом, мыслил уже более последовательно. Реакция на мои подергивания стала вполне доступна, он работал без подвохов, но, рассуждая научно, какой подвох мог смутить Мессинга? Вскоре я учуял направление и повел Тео вдоль третьего ряда столов. Зрители поворачивались и, позабыв о пиве, во все глаза наблюдали за нами. Скоро на площади утих шум, окончательно унялись певцы, прекратились разговоры. Я торопливо шел вдоль скамеек, пока не добрался до зрителя, единственного, кто так и не удосужился повернуться ко мне. Я был уверен – предмет у него. Он сидел спиной к проходу, низко опустив голову – какая более явная примета могла бы выдать его?! Лихорадочно забегавшие мысли почтальона утвердили меня в этой догадке.

Другой вопрос – что искать? Кошелек? Нет. Ключ? Носовой платок? Нет. Листок бумаги? Нет. Листок бумаги, сложенный вдвое? Нет. Сложенный вчетверо? Нет. Удостоверение? Нет. Авторучка? Нет. Фотография? Нет. Значок? Нет. Игральные карты или одна карта? Нет. Иголка? Нет, но что-то близкое. В ряд,

последовательность. Гребень? Нет, похоже, но не то. Расческа?

Ужас, охвативший Тео, подтвердил – да, это расческа, необходимо отыскать расческу. Я попросил почтальона обратиться к таинственному незнакомцу – пусть тот повернется ко мне. Я уже знал, где спрятана искомая вещь – в правом кармане пиджака. Почтальон, растерянный и восхищенный, потрепал так и не соизволившего повернуться зрителя по плечу. Тот неожиданно поднялся, перешагнул через скамейку и уселся лицом ко мне.

Я потерял дар речи.

Вилли Вайскруфт не спеша достал из бокового кармана расческу и передал моему индуктору, при этом снисходительно объяснил изумленному нарушением правил Теобальду:

– От господина медиума ничего спрятать невозможно.

Мне же посоветовал:

– Закрой рот.

Я исполнил команду, и все, что случилось потом, текло через меня, как через уставшую, сонную лошадь, склонившуюся попить воды после напряженного трудового дня.

Воспользовавшись паузой, музыканты из приглашенного оркестра грянули туш, затем принялись с непонятным усердием наяривать досаждавший мне модный фокстрот. Вмиг у меня отчаянно заболела голова. По-видимому, боль отразилась на моем лице, и кто-то из сидевших рядом с Вайскруфтом зрителей поспешил налить мне рюмку яблочной водки. Я сглотнул содержимое, и всякая способность к запредельному видению вдруг оставила меня. Напоследок, правда, обожгла смутным предчувствием беды. Я попытался ухватиться за это предчувствие, овладеть им, но мне поднесли еще одну рюмку. Сил сопротивляться не было, фокстрот с неослабевающей силой давил на психику. Я выпил вторую рюмку и даже сердечно поблагодарил за поднесенный мне яд.

О том, что случилось после, можно сказать только одно – смеркалось. В подступавших к Эйслебену сумерках из-за памятника Лютеру появилась полиция. Впереди шел офицер, за ним вахмистр и рядовой шуцман. Вахмистр и шуцман поднялись на сцену и прервали представление – музыканты разом оборвали мелодию, мне стало радостно. Я отдыхал до той самой минуты, пока начальник полиции не арестовал меня.

– Герр профессор, прошу пойти со мной.

– Что случилось? – с испугу выпалил я.

– Все объяснения в участке, – ответил офицер и приглашающим жестом указал мне дорогу.

Я был вынужден подчиниться.

Вот что отложилось в памяти в тот злополучный день – с Ханной тоже обращались вежливо, не в пример насилию, которое вахмистр применил к ффрау Марте. Он повел уникальный экспонат без всяких церемоний – за бороду.

Зрители на площади повскакали с мест, какой-то парнишка бросился в ближайший проулок. Его поймал за шиворот здоровенный мужчина в кожаном переднике. Он прихватил беглеца за шиворот и держал его, пока нас не отвели в участок, расположенный в старинном доме за памятником Лютеру.

В участке нас ждали окровавленные юнгфронтовцы. Один поддерживал раненую руку. Другой с разбитой головой сидел рядом и грустно стонал. В углу лежало тело, накрытое полицейским плащом, в глаза настойчиво лезли подошвы ботинок.

Где-то я уже видал эти ботинки?

Начальник местной полиции, заметив, что я не могу отвести глаза, охотно удовлетворил мое любопытство. Он подошел ближе и откинул плащ. На полу лежал Гюнтер Шуббель и бессмысленно смотрел в потолок.

Фрау Марта зарыдала. Она бросилась к Гюнтеру, но один из фрейкоровцев, ввалившихся вслед за полицейскими в вестибюль, схватил женщину за бороду и вернул на место.

Начальник полиции, почему-то кивнув в сторону рыдавшей женщины, объявил:

– Он оказал сопротивление, – и, заметив мой недоуменный взгляд, коротко пояснил: – Стрелял.

Тот же фрейкоровец, наконец, отпустивший фрау Марту, с откровенным недоброжелательством добавил:

– Трех застрелил, красная сволочь!

Фрау Марта, рыдая, воскликнула:

– Он же без рук!?

Фрейкоровец сплюнул и со злобой огрызнулся:

– Заткнись, красная шлюха! Если бы у этого урода были руки, он бы всех нас уложил.

Ханни, как всегда спокойная и деловитая, обратилась к начальнику полиции.

– Я прошу оградить нас от оскорблений. Позвольте мне связаться с моим адвокатом?

– Я тебе покажу адвоката, – фрейкоровец двинулся к ней.

Меня вдруг прошибло – сейчас или никогда! Я вскочил со своего места, однако офицер сам осадил добровольца.

– Заткнись, Ганс! И ступай отсюда! Все уходите. Здесь царит закон. Здесь, фрау Шуббель, все делается по закону, но прежде вы должны дать объяснения, каким образом в вашем реквизите оказалось оружие.

В этот момент двое полицейских доставили Бэллу – где она скрывалась, я так никогда не узнал. Она держалась с необыкновенным достоинством, потряхивала гривой, однако когда ей предъявили для опознания труп Вилли, она тоже разрыдалась и, опустившись на колени, стала гладить Вилли по волосам. Отодвинула прядь, и я увидел дырочку в черепе. Ему выстрелили повыше уха, ближе к затылку.

Бэлла вскрикнула так пронзительно, что по телу побежали мурашки. Ханни не выдержала и бросилась к ней, затем, повернувшись и вполне спокойным голосом, но с нескрываемой угрозой, предупредила потянувшихся к выходу добровольцев:

– Вы ответите за это убийство!

Ганс, верзила и наглец, вскинул руку. В этот момент начальник полиции неожиданно позабыл о законе срывающимся голосом выкрикнул.

– Всех в камеру! По отдельным камерам.

Я решил, что этот приказ касается всех, кто находился в приемной, но я ошибся – в камеры отвели только нас – добровольцы из отряда местной самообороны поспешили покинуть помещение.

Один из полицейских засомневался:

– И господина профессора?

– И его тоже! – закричал начальник участка.

Когда нас повели по узкому, покрашенному в цвет кофе с молоком коридору, Ханни успела шепнуть мне:

– Держись спокойно. Ты ничего не знаешь. Багажом занимался Вилли.

Я держался изо всех сил. Капля алкоголя, способная сгубить даже самого могучего экстрасенса, страх, превращающий людей в свиней, – все перемешалось в груди. Кем я был без врожденной способности, о которой так

много и так возвышенно рассуждал Вилли Вайскруфт? Кстати, как он оказался на площади? Он следил за нами? Шестым чувством я ощутил ошибочность этой догадки, однако в тот момент мне было не до выяснения ментальных позывов. Мысль вернулась в прежнее русло – кем меня сочтут в этом уютном, прикрытом кружавчатыми передниками средоточии зла? Грязным еврейским иммигрантом, ухитрившимся всадить нож в спину приютившей его родине? Такое преступление не имело ни срока давности, ни смягчающих вину обстоятельств. Вряд ли имело значение, что во время войны я гастролировал по свету. Это алиби ничем не могло помочь мне, хотя бы потому, что по определению я был коварным предателем, сионским кровопийцей и потомком Иуды Искарота. Единственная надежда была связана с Ханни, а также с тончайшей соломинкой – полицейский назвал меня «профессором». В Германии это звание много стоило. Добавком можно было считать добротную одежду, особенно шляпу, не позволявшую без предупреждения выстрелить в ухо.

Мессинга первым вызвали на допрос.

Офицер успокоился и держался с некоторой предупредительностью. Он сообщил, что в условиях чрезвычайного положения, введенного в области Мансфельд в марте этого года, он вынужден задержать меня, ибо я оказался причастным к государственному преступлению – перевозке оружия. Снабжение оружием террористов, покушающихся на конституционные основы республики, это, знаете ли! Возможно, я замешан косвенно, может, меня использовали втемную, но это не меняет дела.

Затем начальник объявил, что в отношении меня будут соблюдены все нормы демократической процедуры, ведь он демократ. Точнее, социал-демократ.

– Разрешите представиться, старший секретарь полиции Штольц, – он прищелкнул каблуками.

Дело, заявил господин Штольц, представляется не таким простым, каким оно может показаться на первый взгляд. Здесь налицо заговор, направленный на подрыв устоев республики, в связи с чем он вынужден пойти на особые меры.

Хмель испарялся, прояснилась запредельная даль, и я нутром ощутил страх, который изводил задержавшего нас законника и социал-демократа. Более всего этот приверженец соблюдения юридических процедур боялся разгула страстей,

которые могли вновь опрокинуть порядок в провинциальном Эйслебене.

В этом предчувствии таилась неразрешимая загадка – ведь более несовместимых понятий, чем «разгул» и Эйслебен, трудно было отыскать. Этот нонсенс произвел на меня отрезвляющее действие. На вопрос, что я могу показать насчет оружия, я заявил, что знать не знаю ни о каком оружии – у меня контракт, затем потребовал, чтобы со мной и со всеми артистами обращались достойно.

Начальник полиции прищелкнул каблуками и пообещал, что дознание будет произведено аккуратно и в кратчайшие сроки.

– Какое дознание?! – воскликнул я.

Только этого мне не хватало. В этом случае моей карьере в Винтергартене, а может, и во всей Германии, сразу пришел бы конец.

Меня поддержал голос от двери:

– Господин Штольц, не надо никакого расследования!

Я обернулся – в кабинет по-хозяйски вошел Вилли Вайскруфт.

– Ни о каком расследовании и речи быть не может, – подтвердил он. – Господин профессор никоим образом не причастен к шайке красных головорезов, пытавшихся использовать его известность для осуществления своих гнусных планов.

Первым порывом было возмущение, желание возразить, поправить Вилли, но опыт быстротекущей жизни взял верх, и я прикусил язык. Успокоившись, сказал самую постыдную в своей жизни фразу:

– Да-да, я не знаю ни о каком оружии.

Начальник полиции обратился к Вайскруфту:

– Если вы, господин Вайскруфт, готовы поручиться за герра профессора, и герр профессор даст слово, что при первой же необходимости явится в Эйсleben для дачи показаний, я готов отпустить его.

– Гарантирую! – коротко выразился Вилли.

Мы с Вайскруфтом вышли на улицу. У входа Вилли ждал легковой автомобиль. Этот автомобиль вконец доконал меня – владельцу «мерседеса» возражать бесполезно. По инерции, я позволил усадить себя на переднее сидение, затем, собравшись с силами, с ходу нырнул в сулонг.

Оказавшись в заповедье, я смутно разглядел Ханни, сидевшую в камере на откинутой койке и сложившую руки на коленях. Губы ее были сжаты. Присмотрел начальника полиции, кому-то докладывающего по телефону, – о чем он говорил, я не мог разобрать. Перевел ментальный взгляд на комнату отдыха, где полицейские обсуждали подробности засады, которую добровольцы из местного отряда самообороны, гордо называвшегося «Штурмовой батальон Эйсlebenа», устроили красным. Вахмистр возблагодарил Всевышнего за то, что ему и его напарникам не пришлось сидеть в засаде, иначе они тоже бы кого-нибудь не досчитались. Один из шуцманов подхватил – этот красный настоящий оборотень. По мне, признался он, его следовало бы сжечь, и дело с концом. У нас в деревне с такими не церемонились. Вахмистр согласился – такого ловкача, который без рук обращается с оружием, ему никогда встречать не доводилось, даже на фронте. Потом многозначительно заметил – кто бы мог подумать, что спартаковцы делают ставку на ведьмаков.

Эти слова подтолкнули их к размышлениям о той роли, которую играет в жизни случай. Вахмистр припомнил стрельбу на лесной дороге, грязь и лужи в колеях, по которым им пришлось пробираться к месту засады, грузовик, задержанный местными добровольцами. Его послали в лес восстановить закон и порядок, вот почему он сразу решил поставить фрейкоровцев на место. Вахмистр поднял руку, крикнул – прекратить стрельбу! Штурмовики нехотя подчинились. Затем вахмистр поправил ремень и уже совсем было решился выйти из-за ствола, чтобы окриком прекратить безобразие, как вдруг из-под грузовика раздался выстрел, и один из штурмовиков, как подкошенный, упал на землю и завопил – он попал в меня! Он попал в меня!

Тут же начался яростный ответный обстрел. Полетели щепки, в досках кузова появились новые дырочки, зашипел воздух, выходящий из пробитой шины.

Из кузова закричали – не стреляйте! Сдаемся! Потом полетели револьверы, показались три дрожащие окровавленные руки.

Вахмистр, наконец совладавший с ремнем, крикнул:

– Прекратить огонь! Вылезайте.

Два молоденьких паренька, дрожа от страха, полезли через борт. Тот, кто был целехонек, поддерживал своего раненого товарища. Юнгфронтовцы спустились на землю и, пошатываясь, заковыляли в сторону кустарников, где укрылась засада. Вахмистр и командир группы добровольцев, мужчина в длиннополой робе с розовым платком, подвязанным под подбородком, ждали их за стволом старого дуба.

Дальше произошло что-то непонятное – то ли добровольцу не хватило выдержки и он решил поскорее расправиться с красными, то ли надеялся первым арестовать преступников, – но он выскочил из-за дерева. Тут же раздался выстрел, и командир группы молча рухнул на землю. Вахмистр еще удивился – разве можно с такой скоростью падать. Кто-то из добровольцев в ярости вскинул винтовку в сторону пареньков, однако вахмистр ударил по стволу винтовки и прикрикнул:

– Здесь команду я! Прекратить огонь!

Затем крикнул юнгфронтовцам:

– Идите сюда!

Когда обоим надели наручники, раненому тоже, он спросил:

– Кто там, под колесом?

– Старший.

– Какой старший.

– Который без рук.

Вахмистр не поверил.

– Шутите?!

– Нет, господин вахмистр, это Шуббель, он выступал на сцене.

Вахмистр крикнул из-за дерева:

– Герр Шуббель, сдавайтесь! Сопротивление бесполезно.

Ответом было молчание.

Кто-то из добровольцев помянул черта и спросил:

– Что будем делать?

Было сумрачно, приближалась ночь. Кто-то штурмовиков закурил. Вахмистр, срывая злость, прикрикнул:

– Прекратить курение!

Огонек сигареты тут же угас.

Дальнейшее настолько отчетливо врезалось в память вахмистра, что мне не надо было прилагать усилия, чтобы опознать случившееся в лесу. Затаив дыхание, я следил за кадрами, мелькавшими в его сознании.

Вахмистр послал в обход группу из трех человек, сам с другим полицейским решил подобраться справа. Ему и его напарнику повезло больше, может, потому что вахмистр – ветеран, прошедший войну, ступал осторожно, старался не шуметь. Те, что шли слева, буквально ломились сквозь кустарник, и ведьмак, спрятавшийся под машиной, выстрелил в их сторону.

Я как сейчас вижу Гюнтера, сидевшего в глубокой, заполненной водой колее. Шуббель оперся спиной о колесо, ждал темноты, надеясь ускользнуть в темноте. Надежды было мало, на самом доньшке. Откровенно говоря, никакой надежды не было, стало быть, «придется помирать с песней». Эта фраза засела в моем мозгу и била, очень чувствительно, по самому темечку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ishkov_mihail/supervol-f

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)